



УЧЕБНИК БАКАЛАВРА ТЕОЛОГИИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Русская литература XIX века

Ю. В. Лебедев



ТОМ ВТОРОЙ

Учебник бакалавра теологии

Юрий Лебедев

**Русская Литература XIX
века. Курс лекций для
бакалавриата теологии. Том 2**

Торговый Дом "Познание"

2020

УДК 82.0:281.93

ББК 83.3(2)

Лебедев Ю. В.

Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 2 / Ю. В. Лебедев — Торговый Дом "Познание", 2020 — (Учебник бакалавра теологии)

ISBN 978-5-6044872-0-4

Юрий Владимирович Лебедев, заслуженный деятель науки РФ, литературовед, автор многочисленных научных трудов и учебных изданий, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Костромской духовной семинарии, подготовил к изданию курс семинарских лекций «Русская литература», который охватывает период XIX столетия. Автору близка мысль Н. А. Бердяева о том, что «вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира». Ю. В. Лебедев показывает, как творчество русских писателей XIX века, вошедших в классику отечественной литературы, в своих духовных основах питается корнями русского православия. Русская литература остаётся христианской даже тогда, когда в сознании своём писатель отступает от веры или вступает в диалог с нею. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82.0:281.93

ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-6044872-0-4

© Лебедев Ю. В., 2020

© Торговый Дом "Познание", 2020

Содержание

Русская литература 1840–1860-х годов	8
Литературный процесс 1840–1860-х годов	10
Расстановка общественных сил в 1840–1860-е годы	14
Русская критика 1850–60-х годов	18
«Реальная критика» революционеров-демократов	20
Общественные и литературно-критические взгляды нигилистов	22
«Эстетическая критика» либеральных западников	23
Литературно-критическая позиция почвенников	26
Вопросы и задания	29
Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889)	30
Гражданская казнь	32
Детские годы	33
Саратовская духовная семинария	34
Петербургский университет	35
Саратовская гимназия	37
Подступы к новой эстетике	38
Литературно-критическая деятельность Чернышевского	41
Общинное владение землей и теория «крестьянского социализма» Чернышевского	43
Творческая история романа «Что делать?»	46
Жанровое своеобразие романа	47
Диалоги с «проницательным читателем»	48
Композиция романа	49
Старые люди	50
Новые люди	51
«Особенный человек»	53
Четвёртый сон Веры Павловны	54
Каторга и ссылка. Роман «Пролог»	55
Вопросы и задания	57
Русская литература и общественное движение 1870–90 годов	58
Общественные взгляды Петра Лавровича Лаврова (1823–1900)	60
Общественные взгляды Николая Константиновича Михайловского (1842–1904)	61
Общественная позиция Михаила Александровича Бакунина (1814–1876)	63
Общественно-политические взгляды Петра Никитича Ткачёва (1844–1886)	64
Основные этапы «хождения в народ»	65
Консервативные взгляды Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887)	66
Историософские воззрения Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891)	67
Консервативная идеология. К. П. Победоносцев	68
«Философия общего дела» Николая Фёдоровича Фёдорова (1829–1903)	70
Вопросы и задания	72

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)	73
Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева	75
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Юрий Владимирович Лебедев
Русская литература XIX века: Курс
лекций для бакалавриата теологии
Том 2

© Ю. В. Лебедев, 2020

© Костромская духовная семинария, 2020

© Издательский дом «Познание», 2020

Русская литература 1840–1860-х годов





Литературный процесс 1840–1860-х годов

Русский реализм на протяжении XIX века совершил довольно стремительную и сложную эволюцию. Есть ряд чётких признаков, отличающих литературное развитие первой половины XIX века от второй. Литература первой половины века отличается ёмкостью созданных ею образов. Их можно сравнить с зёрнами или с бутонами не распустившегося ещё цветка. В это время закладываются первоосновы русской литературной классики, живые клетки, несущие в себе её неповторимый «генетический код». Это литература кратких, но перспективных в своём дальнейшем развитии художественных формул, заключающих в себе мощную образную энергию, ещё сжатую в них, ещё пока не развернувшуюся. Не случайно многие из них войдут в пословицы, станут фактом нашего повседневного языка, частью нашего духовного опыта: почти все басни Крылова, множество стихов из «Горя от ума» и «Евгения Онегина», «маниловщина» и «чичиковщина» Гоголя, «молчалинство» и «репетитовщина» Грибоедова.

В русской литературе первой половины XIX века большое место занимает проблема художественной формы, краткости и точности языкового оформления поэтического образа. Идёт процесс становления литературного языка. Вопрос «как?» часто теснит вопрос «что?», особенно в произведениях пушкинской поэзии и прозы. Отсюда – напряжённые и живые споры о судьбе русского языка между «шишковистами» и «карамзинистами». Отсюда же – жанровый универсализм русских писателей первой половины XIX века. Они ещё лишены в своём творчестве той специализации, которая произойдёт в 1840–60-е годы, которая заставит Островского отдаться целиком национальной драме, а сатирика Салтыкова-Щедрина – чураться «лепетания в стихах». Пушкин пробует свои силы буквально во всех жанрах литературы: он поэт и прозаик, лирик и драматург. Произведения русских писателей первой половины века невелики по объёму, но значительны по образной силе, которая в них заключена.

Однако начиная с 1840-х годов в русском реализме стремительно развиваются социально-аналитические начала. Белинский считает большим недостатком нашей литературы отсутствие рядовых писательских дарований. «Наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетристическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. Бедна литература, не блистающая именами гениальными, но не богата и литература, в которой всё – или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы».

Если Константин Аксаков в оценке «Мёртвых душ» сосредоточивает внимание на вечной основе художественного мирозерцания Гоголя, то Белинский отчуждает от него лишь сиюминутное и злободневное. Критик ведёт борьбу за расширение влияния литературы на жизнь русского общества. И он добивается этого. В течение десятилетия Белинский вырабатывает целую плеяду литературных дарований, получивших с легкой руки его противника Булгарина название писателей «натуральной школы».

Демократизм писателей этой «школы» проявился в неистощимом желании рассмотреть под социальным углом зрения всю Россию, все её сословия, все «места», всё богатство и многообразие её жизни. Подступы к таким широким синтезам намечаются и в издании знаменитых «физиологий», коллективных авторских сборников, среди которых пальма первенства принадлежит изданной Некрасовым «Физиологии Петербурга, составленной из трудов русских литераторов» (1845).

Книга эта – одна из первых в русской литературе попыток создать целостную картину жизни столицы. Её открывает теоретическое вступление Белинского. Затем следует им же написанный очерк «Петербург и Москва», где воссоздается обобщённый облик новой русской

столицы по контрасту со старой Москвой. Далее идут аналитические очерки, посвящённые изображению отдельных разрядов столичного общества: «Петербургский дворник» В. Луганского (Даля), «Петербургские шарманщики» Д. Григоровича, «Петербургская сторона» В. Гребенки, «Петербургские углы» Н. Некрасова...

В композиции сборника отражаются общественные взгляды его авторов. Это демократически настроенные писатели круга Белинского. В 1840-е годы многих шокировало то обстоятельство, что описание сословий, населяющих столицу, открывается очерком «Петербургский дворник». Альманах отрицает расхожее представление о «верхах» и «низах». «Низы» оказываются значимее «верхов», на них держится жизнь всего общества, в тёмных углах и подвалах, где они обитают, жизнь столицы начинается.

Однако в конце 1840-х – начале 1850-х годов в творчестве писателей «натуральной школы» обнаружилось существенное противоречие. Вслед за Белинским они считали, что беды и несчастья современного общества лежат не в природе человека, а в социальных обстоятельствах, искажающих её естественные и гармоничные проявления. Возникал порочный круг – враждебная человеку среда лишала его возможности выйти из-под её нивелирующего влияния. Поэтому представление писателей о взаимосвязи человека и среды, характеров и обстоятельств начинает существенно изменяться. На первый план всё более энергично выходит человеческая индивидуальность, личность, способная сопротивляться давлению окружающей среды. Этот поворот ощутим в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди», в искусстве раннего Л. Н. Толстого, автора трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».

Здесь глубина психологического анализа приводит уже к разрушению свойственного искусству Гоголя и Гончарова «пластически цельного образа». На эту особенность пронизательно указал К. С. Аксаков в «Обзрении современной литературы» (1857): «Анализ гр. Толстого часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания, которые проносятся по душе, как лёгкое облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они получают большее значение, нежели какое имеют на самом деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае становится микроскопом. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите, а всё остальное останется в своём естественном виде, то нарушится мера отношения их ко всему окружающему, и, будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, ибо им придан неверный объём, ибо нарушена общая мера жизни, её взаимное отношение, а эта мера и составляет действительную правду».

Толстовские «подробности чувств» в переживаниях взрослого Иртеньева-рассказчика действительно довлеют себе, выбиваются из мотивировки характером. Но Аксаков ещё не видит открывающиеся на этом пути перспективы: с помощью «диалектики души» Толстой придёт к новому пониманию человека в литературе. Раздробляя целостный характер «незначущими» и «немотивированными» «мелочами» и «подробностями» чувств, Толстой уже в 1850-е годы открывает в человеке бесконечные возможности к изменению, нравственному совершенствованию. «Характер» оказывается здесь величиной отнюдь не застывшей, а разложенной на более мелкие частицы, на переменчивые душевные состояния. Анализ в искусстве раннего Толстого рыхлит почву для грядущего всеобъемлющего синтеза, позволившего творцу «Войны и мира» прийти к уникальному сочетанию «великого эпического веяния с бесконечными мелочами анализа».

Примечательна в связи с этим судьба русской поэзии. В 1840-е годы должно было достигнуто расцвета поколение поэтов «пушкинской плеяды». Но лишь немногие из них перешагнули через роковой рубеж 1830–1840-х. В 1842 году, одновременно с посмертным изданием стихотворений М. Ю. Лермонтова, выходит последняя книжка стихов современника Пушкина Е. А. Баратынского с символическим названием «Сумерки». Вслед за этим действительно наступают «сумерки» русской поэзии, длившиеся около десяти лет. Поэзия почти исчезает со

страниц толстых журналов, вытесняемая прозой. В поздних своих статьях Белинский объявляет решительную войну поэзии, отдавая все свои симпатии прозе.

Каковы же причины ухода поэзии на обочину литературного процесса? Часто ссылаются на безвременную смерть большинства поэтов пушкинского поколения. Однако трагическая их судьба не могла приостановить живой процесс развития русской литературы. 1840-е годы отмечены появлением «Бедных людей» Достоевского, «Обыкновенной истории» Гончарова, «Кто виноват?» Герцена, «Записок охотника» Тургенева. Но лучшие достижения литературы этого времени почему-то связаны лишь с прозой.

Поэзия с очевидностью отстаёт, хотя внешние условия для её развития как будто бы вполне благоприятны. Начало 40-х годов было и началом творческого пути Н. А. Некрасова («Мечты и звуки»), А. А. Фета («Лирический пантеон»), А. Н. Майкова («Стихотворения»). Тогда же опубликовали свои первые поэтические опыты А. К. Толстой, Я. П. Полонский, Н. П. Огарёв. Возникло новое поколение поэтов, призванное сменить безвременно ушедшую из литературы пушкинскую плеяду. Но в 40-х годах этой смены не произошло. Сборники молодых поэтов или не были замечены критикой, или признаны неудачными.

Ситуация изменяется к середине 1850-х годов, когда репутация стихов среди читающей публики неожиданно и стремительно возрастает, целый период в развитии русской литературы (1855–1862) проходит под знаком преимущества поэзии. Знатоки русской литературы неслучайно называют этот период «поэтической эпохой». С 1854 по 1862 годы издают свои сборники Некрасов, Никитин, Фет, Майков, А. К. Толстой, Вяземский. После долгих лет молчания вновь обретает голос некогда осмеянный Белинским романтический поэт Бенедиктов. Издатели толстых журналов отводят теперь стихам лучшие страницы. Сборники наиболее популярных поэтов (Некрасова и Фета, например) неоднократно переиздаются. Каковы же причины столь бурного расцвета поэзии в этот период?

Уже в 1850 году Некрасов почувствовал односторонность современного литературного процесса и выступил на страницах «Современника» с известной статьёй «Русские второстепенные поэты». *Пробуждение внимания к поэзии было связано со спецификой поэтической образности.* Некрасов, начиная в 50-х годах борьбу за восстановление утраченного поэзией престижа, упорно настаивал в своих критических статьях именно на *специфической содержательности художественного образа в поэзии*: «Мы не охотники до ученых терминов и употребляем их только в случае крайней необходимости; впрочем, уже неоднократно было сказано до нас, что *дело прозы – анализ, дело поэзии – синтезис.* Прозаик целым рядом черт, – разумеется, не рабски подмеченных, а художественно схваченных, – воспроизводит физиономию жизни; поэт одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели...» (Курсив мой. – Ю. Л.)

1840-е годы в русской литературе прошли под знаком *анализа* самых различных социальных пластов жизни. Это был период экстенсивного развития русского реализма. Естественно, что на первый план вышли тогда прозаические жанры очеркового и документального типа. В начале 1850-х годов в искусстве прозы возникают процессы, вызывающие к жизни синтезирующие свойства поэтической образности. Обостряется интерес к внутреннему миру человека, к духовным и нравственным процессам. На смену аналитической литературе очеркового типа приходит литература, стремящаяся к синтезу, к целостному охвату бытия.

Русская проза вступает в полосу предроманного развития. Возникают переходные между очерком, повестью и романом формы: книги новелл, эпические циклы типа «Записок охотника» Тургенева, «Севастопольских рассказов» Толстого, «Записок из Мёртвого дома» Достоевского. Именно в этот период будущие классики русского романа 1860-х годов: Толстой, Тургенев, Достоевский – начинают живо интересоваться поэзией. Тургенев пишет критическую статью о Тютчеве, Толстой находится в творческой дружбе с Фетом, Достоевский, по его собственному признанию, увлечён поэзией Некрасова.

Примечательно, что будущие романисты-эпики ценят в поэзии сам характер поэтической образности – сжатость, гармоническую завершённость, полноту, способность поэзии запечатлеть тонкую и зыбкую душевную жизнь, умение поэта выразить целую концепцию жизни в пределах краткой лирической миниатюры. В поэзии их привлекают те качества, которые не характерны для очерковой литературы, где анализ преобладает над синтезом. Но эти же качества художественного изображения окажутся очень значимыми для их собственной прозы, в которой исследование жизни завершается целостной художественной концепцией её.

Существенной особенностью «поэтической эпохи» 1855–1862 годов окажется её внутренний драматизм. Поэзия этого периода далеко не однородна. Она раскалывается на два враждующие друг с другом течения: рядом с Некрасовым стоит Фет, поэты «некрасовской школы» ведут принципиальную полемику с поэтами «чистого искусства». Каждое из этих течений очень разнообразно по характеру творческих индивидуальностей. Далек друг от друга Майков, Фет, Полонский, А. К. Толстой. В какой-то мере сближает этих поэтов большая или меньшая степень недоверия к демократическому лагерю. Поэты «некрасовской школы», напротив, все оказываются более или менее последовательными демократами в своих политических и художественных ориентациях. Так в противостоянии двух течений русской поэзии середины века заявляет о себе напряженная общественная борьба.

1850-е годы в истории русской литературы явились эпохой становления самобытной национальной драматургии. А. Н. Островский считал возникновение национального театра признаком совершеннолетия нации. Усилиями Островского и его спутников был создан реалистический репертуар для русского театра, который не мог существовать, имея в запасе лишь несколько драм Фонвизина, Грибоедова, Пушкина и Гоголя. К середине XIX века в обстановке глубокого социального кризиса стремительность и катастрофичность совершающихся в стране перемен вызвала к драме, создавая почву для небывалого её подъёма и расцвета. Русская литература ответила на эти исторические перемены появлением целой плеяды писателей, отдававших дань драматургии. Островский оказался в центре драматического искусства 1860-х годов, задавая тон, намечая основные пути, по которым пошло развитие русской драмы. Островскому русская драматургия обязана своим неповторимым национальным обликом. Как и во всей русской литературной классике, в ней существенную роль играют начала эпические: драматическим испытаниям подвергается мечта о братстве людей, обличается «всё резко определившееся», «эгоистически отторгшееся от общечеловеческого».

Расстановка общественных сил в 1840–1860-е годы

Русская общественная мысль второй половины XIX века бьётся над решением вопроса о путях развития России: могут ли они быть простым воспроизведением путей Западной Европы, или Россия имеет свою особенную историческую судьбу? В решении этого вопроса русская общественность размежевалась в 40-е годы на два течения – *западническое* и *славянофильское*. Западники боготворили Петра Великого и считали, что Россия должна и далее идти западным путём. Славянофилы же видели в петровских реформах попытку насильственной европеизации и полагали, что в дальнейшем своём развитии Россия должна опираться на собственные исторические традиции.

И славянофилы, и западники были патриотами. Когда в 1860 году вслед за А. С. Хомяковым скончался «рыцарь славянофильства» К. С. Аксаков, западник А. И. Герцен сказал: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *не одинакая*. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчётное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, – чувство безграничной, обхватывающей всё существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орёл, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*».

Если западники утверждали, что различие между просвещением Европы и просвещением России существует лишь в степени, а не в характере, то славянофилы в лице Алексея Степановича Хомякова (1804–1860), Ивана Васильевича Киреевского (1806–1865) и Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) полагали, что Россия уже в первые века своей истории, с принятием христианства, была образованна не менее Запада, но «дух и основные начала» нашей образованности отличались от западноевропейской.

Христианство пришло на Запад через Церковь Римскую, которая уклонилась от Церкви Вселенской и впала в грех *обмирщения*, в соблазн построения Царства Божия на грешной земле. Она обоготворила политическое общество и совершила смешение Церкви с государством. В степень догмата было возведено учение о непогрешимости Папы, объявленного наместником Христа на земле, стоящим выше Вселенских Соборов. Одновременно Папа стал претендовать и на роль земного владыки, обладателя светской власти. Единство Церкви стало мыслиться как принудительное, возникла инквизиция с её судом над совестью и карой за неверие. Было провозглашено право репрессий Папы против непокорных народов. И западное христианство взялось за меч, а Папа сделался главой нестройного народного ополчения – Крестовых походов. Вся энергия церковной жизни Запада оказалась направленной не в духовную, а в мирскую сторону.

Качественно иным было духовное просвещение России. Она унаследовала христианство от Византии, ревностно хранившей догматы и предания Вселенской Церкви. Поэтому Восточная Церковь строго уклонялась от греха обмирщения. Патриархи в ней не претендовали на непогрешимость, основные вопросы церковной жизни здесь решались сообща, на Вселенских Соборах. Греческие Патриархи не соблазнялись ролью земных владык и соблюдали дистанцию между духовными и мирскими интересами, хранили «симфонические» отношения Церкви с государством, избегая и крайностей слияния, и крайностей противопоставления небесного и земного.

Противоположным оказалось и православное понимание личности, решительно не приемлющее индивидуализма. Эгоистическая личность обречена на бессилие и разлад, она дисгармонична, как расстроенный музыкальный инструмент. Славянофилы утверждали, что истина открывается только верующему человеку, находящемуся под благодатным покровом Церкви. Они считали, что корень мирского зла лежит не во внешних обстоятельствах, окружающих

человека, а в самом человеке, в его расстроенной, повреждённой природе. И напрасно человек Запада хочет улучшить внутреннее самочувствие, совершенствуя внешние обстоятельства: «развитием внешних средств» нельзя ослабить «тяжесть внутренних недостатков».

У православного русского человека иной взгляд, он, по замечанию Киреевского И. В., «внутренним возвышением над внешними потребностями» избегает «тяжести внешних нужд». Если Запад направляет энергию мысли и действия на улучшение жизненных обстоятельств, окружающих человека, то православная Россия устремляется к внутреннему устройству, к нравственному совершенствованию человеческой души.

Славянофилы поставили точный диагноз болезни европейской цивилизации, связанной с угасанием веры, обожествлением человека, провозглашенного «мерою всех вещей», и с наступающим в XIX веке кризисом гуманизма эпохи Возрождения. Выход из этого кризиса возможен лишь на путях возвращения к гуманизму христианскому. Поэтому цельный тип мышления, унаследованный Россией с православного Востока, славянофилы считали бесспорным нашим преимуществом. Он укоренился в глубинных основах национальной жизни, определил особый склад русского характера и особый облик русской классической литературы, в центре которой оказались проблемы духовной жизни, нравственного совершенствования человека.

Самобытность русского исторического развития славянофилы видели и в том, что наша государственность складывалась более органично и естественно. Государства западноевропейские возникали в результате завоевания воинственными германскими племенами коренного населения и насильственной его ассимиляции. Естественно, что для поддержания порядка завоевателям требовалась жёсткая и предельно регламентированная жизнь.

В России не было жестокого столкновения враждующих племён, поэтому гражданские права и обязанности, общественные, личные и семейные отношения не нуждались у нас в непрерывном юридическом оформлении. «Святость предания» всегда предпочиталась на Руси законодательным формальностям, нормы обычного права были жизнеспособнее, чем на Западе.

По тем же причинам в России не укоренилось понятие о «священном и неприкосновенном праве собственности». Земля в наших селах и деревнях принадлежала сельской общине, которая выдавала крестьянским семьям надел в личное пользование. С увеличением или уменьшением численности семьи совершался периодический передел (перераспределение) земельных наделов на миру (крестьянской сходке). Он происходил не по юридическим законам, а по совести, по нормам обычного права. Поэтому в русском национальном характере начало мира, соборного единения преобладает над началом эгоистического обособления.

Петровская реформа, подчинившая Церковь государству, заменившая патриаршество Священным Синодом (министерством государственного вероисповедания), нарушила «симфонические» отношения между духовной и светской властью, ослабила благодатное влияние Церкви на все сферы русской жизни. А насильственно европеизированная высшая прослойка нашего общества порвала связь с народом, национальной культурой и даже с православной духовностью.

В европеизации России славянофилы видели угрозу самой сущности национального бытия. Поэтому они критически относились к петровским реформам, к правительственной бюрократии. Они были активными противниками крепостного права, ратовали за свободу слова, за решение всех экономических и политических вопросов на Земском соборе, состоящем из лучших, достойнейших людей от всех сословий русского общества.

Славянофилы хотели реформировать самодержавие в духе идеалов православной соборности. В послепетровской России самодержавие обюрократилось, государство противопоставило себя земле, народу. Осуществляя насильственную европеизацию, оно создавало послушную себе, но чуждую народу бюрократическую прослойку. И чем упорнее было народное

сопротивление реформам, тем более разрасталась бюрократия, пытавшаяся силой проводить на местах царские указы.

Самодержавие должно обновиться, встать на путь содружества с землёй. В своих решениях оно обязано опираться на мнение народное, периодически созывая Земский собор. Государь призван выслушивать мнение всех сословий общества, но принимать окончательное решение единолично, в согласии с христианским духом добра и правды.

Если славянофилы любили Россию как мать, сыновней любовью, то западники любили её как дитя, нуждающееся не только в заботах и ласке, но и в духовном наставничестве, руководительстве. Для западников Россия была младенцем в сравнении с «передовой» Европой, которую ей предстояло догнать.

Среди западников было два крыла: радикальное, революционно-демократическое, и умеренное, либеральное. Революционеры-демократы считали, что Россия вырвется вперёд благодаря прививке к её младенческому организму выпестованных на Западе революционных социалистических учений.

В 1840-е годы в радикальной прослойке западников широко распространяются учения французских социалистов-утопистов – сначала Сен-Симона, потом Фурье и аббата Ламенне. В 1844 году у выпускника Царскосельского лицея М. В. Буташевича-Петрашевского (1821–1866) по пятницам начал собираться политический кружок молодых людей, увлечённых социалистическими идеями. «Пятницы» Петрашевского посещают и русские писатели: литературный критик В. Н. Майков и его брат, поэт А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин.

Социалисты-утописты видели бедствие современной цивилизации в социальном неравенстве, а выход искали на путях нравственного перевоспитания господствующего сословия в духе христианских заповедей. Недостатком исторического христианства они считали пассивное отношение к общественному злу и хотели придать христианскому вероучению активный, действенный характер. Усвоение христианских истин заставит богатых поделиться с бедными частью своих богатств – и в мире наступит социальная гармония. При этом социалисты упускали главный догмат христианства – поражённость природы человека первородным повреждением. Они считали, напротив, что человек по своей природе добр, а зло заключается в искажённом общественным неравенством социальном устройстве.

Однако на самом взлёте общественное движение того времени подсекает страшный удар. Перепуганный революционными событиями 1848 года в Западной Европе, Николай I решает разом пресечь в России «вольномыслие». Утром 23 апреля 1849 года 123 члена кружка Петрашевского были арестованы и отданы под следствие. Двое из них умерли в тюрьме, двадцати одного приговорили к расстрелу, заменённому каторгой или солдатчиной. В стране начался один из самых тяжелых периодов её истории, получивший название «мрачного семилетия» (1848–1855).

Конец этому застою положила Крымская война, показавшая «гнилость и бессилие крепостной России». 18 февраля 1855 года умер Николай I, а 30 августа пал Севастополь. С приходом на царствование либерально настроенного Александра II в стране начался новый общественный период, называемый «Эпохой шестидесятых годов», или «Эпохой великих реформ».

Начиная с 1859 года, революционеры-демократы стали проводить в своих статьях, публикуемых на страницах журнала «Современник», идею крестьянской революции. Ядром будущего социалистического мироустройства они считали крестьянскую общину, полагая, что общинное владение землёй сохранило в русском народе социалистические инстинкты.

Либеральное крыло западников, напротив, ратовало за искусство «реформ без революций» и связывало свои надежды с общественными преобразованиями сверху. И революционеры-демократы, и либералы-западники начинали отсчёт исторического развития страны с

преобразований Петра, которого ещё Белинский называл «отцом новой России». К допетровской России они относились скептически, отказывая ей в праве на историческое предание и традицию.

Но из такого отрицания исторического прошлого западники выводили парадоксальную мысль о великом нашем преимуществе перед Европой. Русский человек, свободный от груза исторических традиций, преданий и авторитетов, может оказаться прогрессивнее любого европейца. Землю, не таящую в себе никаких собственных семян, но плодородную и неистощённую, можно с успехом засеять заёмными семенами. Молодая нация, усваивая безоглядно самое передовое в науке и практике Западной Европы, в короткий срок осуществит стремительное движение вперёд.

Русская критика 1850–60-х годов





«Реальная критика» революционеров-демократов

Общественный пафос статей позднего Белинского с его социалистическими убеждениями подхватили и развили в 1860-е годы Николай Гаврилович Чернышевский и Николай Александрович Добролюбов (1836–1861). Чернышевский утверждал, что художественное творчество должно решать триединую задачу: отражение жизни, объяснение её и приговор над ней.

Опираясь на эти положения Чернышевского, Добролюбов стал основателем особого подхода к анализу литературного произведения. Он видел, что большинство русских писателей не разделяет революционного образа мыслей и не произносит приговор над жизнью с таких радикальных позиций. А потому задачу своей критики Добролюбов усматривал в том, чтобы по-своему завершить начатое писателем дело и сформулировать свой «приговор», используя художественные образы произведения. Свой метод Добролюбов называл «реальной критикой».

Реальная критика «разбирает, возможно ли и действительно ли такое лицо; нашедши же, что оно верно действительности, она переходит к своим собственным соображениям о причинах, породивших его, и т. д. Если в произведении разбираемого автора эти причины указаны, критика пользуется ими и благодарит автора; если нет, не пристаёт к нему с ножом к горлу – как, дескать, он смел вывести такое лицо, не объяснивши причин его существования?» Критик берёт в этом случае инициативу в свои руки: объясняет причины, породившие то или иное явление, с революционных позиций и произносит над ним приговор.

Добролюбов положительно оценивает, например, роман Гончарова «Обломов», хотя автор, по его мнению, «не даёт и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов». Достаточно того, что Гончаров «представляет вам живое изображение и ручается только за сходство его с действительностью». Для Добролюбова подобная объективность вполне приемлема и даже желательна, так как объяснение и приговор критик берёт на себя сам. Если же автор тенденциозен, критик этого как бы не замечает и даёт характерам и событиям в произведении свою интерпретацию.

Пользуясь методом реальной критики, Добролюбов перетолковывал художественное произведение писателя на свой революционно-демократический лад. Анализ произведения не только перерастал в осмысление острых проблем современности, превращаясь в разговор «по поводу», но и приводил Добролюбова к выводам, которые никак не предполагал сам автор. На этой почве, как мы увидим далее, произошёл решительный разрыв Тургенева с журналом «Современник», когда статья Добролюбова о романе «Накануне» увидела в нём свет.

К 1859 году, когда правительственная программа реформ и взгляды на них либералов прояснились, когда стало очевидно, что перемены сверху будут непоследовательными и осторожными, революционеры-демократы от шаткого союза с либералами перешли к разрыву отношений с ними. Обличению либерализма Добролюбов посвятил специальный сатирический отдел в журнале «Современник» под названием «Свисток», где он успешно выступал в роли талантливого поэта-юмориста под тремя сатирическими масками: поэта чистого искусства Аполлона Капелькина, либерала-обличителя Конрада Лиленшвагера и тупого реакционера Якова Хама.

За четыре года неустанного труда Добролюбов оставил девятитомное наследие. Он буквально сжёг себя на подвижнической журнальной работе, подорвавшей его здоровье. Добролюбов умер в возрасте 25 лет 17(29) ноября 1861 года, оставив как завещание такие горькие стихи:

Пускай умру – печали мало,
Одно страшит мой ум больной:
Чтобы и смерть не разыграла

Обидной шутки надо мной.

Чтоб всё, чего желал так жадно
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской.

Общественные и литературно-критические взгляды нигилистов

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского (1862) в революционно-демократическом движении совершаются драматические перемены. Происходит раскол, основной причиной которого являются разногласия в оценке революционных возможностей крестьянства. Деятели журнала «Русское слово» Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) и Варфоломей Александрович Зайцев (1842–1882) выступают с резкой критикой «Современника» за его идеализацию крестьянства, за веру в социалистические инстинкты русского мужика.

В отличие от Чернышевского и Добролюбова, Писарев считал, что русский крестьянин не готов к сознательной борьбе за свободу, в массе своей он тёмный и забитый. Революционной силой современности является «умственный пролетариат», просвещённые разночинцы, несущие в народ естественнонаучные знания. Эти знания призваны разрушить основы официальной идеологии (православие, самодержавие, народность) и открыть народу глаза на естественные потребности человеческой природы, в основе которых лежит «инстинкт общественной солидарности». Поэтому просвещение народа естественными науками может не только революционным («механическим»), но и эволюционным («химическим») путём привести общество к торжеству социализма.

Для того чтобы этот переход совершался быстрее и эффективнее, Писарев предложил русской демократической интеллигенции руководствоваться принципом экономии сил: надо сосредоточить всю энергию на разрушении устоев общества путем пропаганды в народе естественных наук. Во имя так понимаемого духовного освобождения Писарев предлагал отказаться от искусства. Он считал, что «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», и признавал искусство лишь в той мере, в какой оно участвует в пропаганде естественнонаучных знаний и разрушает основы существующего строя.

В статье «Базаров» Писарев восславил торжествующего нигилиста, а в «Мотивах русской драмы» «сокрушил» возведенную на пьедестал Добролюбовым героиню драмы Островского «Гроза» Катерину. Разрушая кумиры «старого» общества, Писарев опубликовал скандально знаменитые антипушкинские статьи и работу «Разрушение эстетики». Полемика между «Современником» и «Русским словом», которую Достоевский назвал «расколом в нигилистах», явилась симптомом спада общественного движения 1860-х годов.

«Эстетическая критика» либеральных западников

Либерально-западнического направления придерживались петербургские журналы «Отечественные записки» А. А. Краевского, «Библиотека для чтения» А. В. Дружинина и «Русский вестник» М. Н. Каткова, издаваемый в Москве. Критическая позиция этих журналов определилась в середине 1850-х годов в спорах с революционерами-демократами о путях развития литературы. Полемизируя с «Очерками гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, опубликованными в журнале «Современник» за 1855–1856 годы, П. В. Анненков и А. В. Дружинин отстаивали традиции «чистого искусства», обращённого к вечным вопросам и верного «абсолютным законам художественности».

Павел Васильевич Анненков (1812 или 1813–1887) публикует в самом начале 1860-х годов две статьи, полемически направленные против литературно-критических взглядов Чернышевского: «О мысли в произведениях изящной словесности» (1854) и «Старая и новая критика» (1856). Задачу критики Анненков видит не в обсуждении жизненно важных общественных проблем, затронутых писателем, а в уяснении особенностей его таланта, приёмов и способов создания литературного произведения, руководствуясь абсолютными законами художественности.

Главным условием художественности Анненков ставит полную объективность изображения. В художественном произведении нужно избегать прямого вмешательства автора. Указания и приговоры последнего всегда производят на читателя неприятное впечатление, напоминая вывеску с изображением протянутого перста. Писатель не должен следить за своими героями, как нянька, наблюдая, чтоб каждый шёл прямо по начертанной дороге и по сторонам не зевал. Истинный художник даёт свободное движение герою. Характер его должен развиваться постепенно, последовательно, выясняясь всё более и более с течением времени, как это бывает в жизни, а не вставать с первого раза целиком обделанным, как статуя, с которой сорвали покрывало.

Анненков не принимает взгляд Чернышевского на литературу как на «учебник жизни», ибо видит в нём что-то дидактическое. Постоянные хлопоты писателя о мысли сообщают литературе педагогический характер: от усиленного умничанья исчезает свежесть понимания явлений, простодушие во взглядах на предметы, смелость обращения с ними. Художественная мысль, по мнению Анненкова, не имеет ничего общего с мыслями философскими или публицистическими. Общественное значение искусства заключается не в прямой проповеди, а в силе образного языка. Так, в каждую эпоху имеется любимый тип – герой своего времени; он исчезает в литературе лишь тогда, когда сильный талант в одном произведении или в нескольких изобразит его во всей полноте и самую идею, с ним соединенную, исчерпает до основания. С этого момента характер, вполне раскрытый в искусстве, пропадает и в самой жизни. Только в таком обратном действии искусства на жизнь и заключается его моральное назначение.

Анненков как эстетик-либерал очень недоверчив к тенденциозному искусству, в котором слишком обнажается эмоциональная реакция автора. Горький, болезненный опыт, распалённое воображение, доведённое до состояния экстаза или восторженности, разрешаются произведениями, имеющими относительное достоинство, неудачными в художественном отношении. Они не дают полноты эстетического наслаждения, которое поминутно прерывается и постоянно возмущается грубыми авторскими вторжениями. Высший род искусства возникает лишь там, где характеры и события выявлены полно, без утайки, без наговора, где они сами в себе, без авторской указки творят свой суд.

В статье «Старая и новая критика» Анненков рассматривает идею художественности и народности, которые, по его мнению, обратились для современной критики в единственный серьёзный вопрос. Понятие о художественности явилось у нас в критике Белинского 1830-х

годов и вытеснило прежние эстетические учения. Белинский утверждал тогда идеальное представление об абсолютном совершенстве произведения, исключаяем таланты с обыкновенными творческими способностями. За пределами изящной словесности остались у него многие явления литературы, приносящие нравственную пользу.

Почувствовав, что его теория художественности обнимает далеко не весь горизонт литературы, Белинский поделил всех писателей на два разряда: на гениев, создающих совершенное искусство, непричастное к спорам, и на писателей второстепенных. Но, оторвавшись от идеи чистого искусства, от высокой художественности, Белинский уже не знал, где остановиться, и оказался в плену жизненной случайности, общественной пользы.

Теперь, по мнению Анненкова, критика не должна повторять заблуждения позднего Белинского. Перед ней стоит задача свести прежнее идеальное представление о художественности в определение более скромное и простое, обнимающее всё многообразие современных явлений русской словесности.

Анненков упрекает критику Чернышевского в утилитарности, в пренебрежении спецификой искусства. Эта критика считает критерии художественности забавной, бесплодной игрой форм. Она требует, чтобы искусство посвятило себя прямому служению обществу. Осудив теорию художественности, утилитарная критика противопоставила ей идею народности. Но, по мнению Анненкова, без совершенной художественной формы народность принадлежит не искусству, а этнографии. Нет никакой другой формы, кроме чисто художественной, для совершенного воплощения в искусстве идеи народности.

С Анненковым солидарен Александр Васильевич Дружинин (1824–1864) в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения». Подобно Анненкову, Дружинин формулирует два теоретических представления об искусстве: одно он называет дидактическим, а другое – артистическим. Дидактические поэты «желают прямо действовать на современный быт, современные нравы и современного человека. Они хотят петь, поучая, и часто достигают своей цели, но песнь их, выигрывая в поучительном отношении, не может не терять многого в отношении вечного искусства». К «дидактическим» писателям Дружинин относил Н. В. Гоголя и в особенности его последователей, писателей так называемой «натуральной школы».

Подлинное искусство не имеет ничего общего с прямым поучением. «Твёрдо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды», поэт-артист «в бескорыстном служении этим идеям видит свой якорь... Он изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не даёт уроков обществу или если даёт их, то даёт бессознательно. Он живёт среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на неё олимпийцы, твёрдо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе». Идеалом художника-артиста в русской литературе был и остается А. С. Пушкин, по стопам которого и должна следовать современная литература.

Бесспорным достоинством либерально-западнической критики было пристальное внимание к специфике литературы, к отличию её художественного языка от языка науки, публицистики, критики. Характерен также их интерес к непреходящему, вечному в произведениях литературы, к тому, что определяет их неувядающую жизнь во времени.

Но вместе с тем попытки отвлечь писателя от житейских волнений, приглушить авторскую субъективность, вызвать недоверие к произведениям с ярко выраженной общественной направленностью свидетельствовали об известной ограниченности эстетических взглядов этих критиков.

Литературно-критическая программа славянофилов была органически связана с их общественными взглядами. Эту программу проводили в жизнь журналы «Москвитянин» и «Русская беседа»: «Высший предмет и задача народного слова состоит не в том, чтобы ска-

зять, что есть дурного у известного народа, чем он болен и чего у него нет, а в поэтическом воссоздании того, что ему дано лучшего для своего исторического предназначения».

Славянофилы не принимали в русской прозе и поэзии социально-аналитических начал, им был чужд утонченный психологизм, в котором они усматривали болезненные проявления «европеизированной» личности русского интеллигента, оторвавшегося от национальной почвы. Именно такую болезненную манеру со «щеголяньем ненужными подробностями» находил К. С. Аксаков даже в ранних произведениях Л. Н. Толстого с его «диалектикой души», в повестях И. С. Тургенева о «лишнем человеке».

В то же время К. С. Аксаков в «Обозрении современной литературы» (1857) уже с удовлетворением отмечал, как изменяется художественное направление лучших, талантливейших писателей натуральной школы, когда они избирают народ объектом своего изображения: «Прикосновение к крестьянину и, в лице его, к земле русской подействовало освежительно на писателя с талантом, – и крестьянин, взятый сперва как самый натуральный субъект, невольно представлялся им, хотя далеко ещё не вполне, с другой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принадлежит г. Тургеневу, за ним г. Григоровичу (в его “Деревне” крестьянин выставлен ещё в духе натуральной школы), а за ним и другим более или менее талантливым писателям».

К. С. Аксаков в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мертвые души”» (1842) обратил внимание, что сосредоточенная в себе индивидуальность современного западноевропейского писателя утратила необходимый эпическому искусству дар художественного созерцания: «Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, как объяснится какая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала наконец нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлых мест, древний эпический характер... Так снизошёл эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести».

В статье «О возможности русской художественной школы» (1847) А. С. Хомяков писал, что искусство *«не есть произведение одинокой личности и её эгоистической рассудочности. В нём сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с её просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственно своею силою: духовная сила народа творит в художнике»* (курсив мой. – Ю. Л.). «Только в живом общении с народом выходит человек из мертвенного одиночества эгоистического существования и получает значение живого органа в великом организме...» Дар художественного созерцания требует от человека особого качества личности, особой любви к созерцаемому предмету. Это любовь благоговейная, бескорыстная, ничего не требующая себе взамен.

В «Письме к Т. И. Филиппову» (1856) Хомяков так характеризует её: «Любовь, как требование притязательное и самолюбивое, любовь, ставящая цель в лице любящего, есть ещё не отрешившийся эгоизм»: другой человек признаётся в ней ещё «как средство, а не как цель». «Истинная любовь имеет иное, высшее назначение. Предмет любимый уже не есть средство: он делается целью, и любящий уравнивает его с собою, если не ставит выше себя». Он «переносит на него свои собственные права, часть собственной жизни ради его, а не ради самого себя, таково определение истинной, человеческой любви: она по необходимости заключает уже в себе понятие духовного самопожертвования». В этих статьях А. С. Хомякова уже предвосхищалась литературная программа почвенников.

Литературно-критическая позиция почвенников

«Почвенничество» как общественно-литературное течение середины 60-х годов пыталось снять крайности в учениях западников и славянофилов. Духовным его вождем был Достоевский, издававший в эти годы два журнала: «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). Сподвижниками Достоевского стали литературные критики Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) и Николай Николаевич Страхов (1828–1896).

Почвенники в какой-то мере поддерживали взгляд на русский национальный характер, высказанный ещё Белинским в 1846 году: «Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, история которых шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала цвет и плод... Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца».

Почвенники говорили о «всечеловечности» как отличительной особенности русского национального духа, которую они находили в творчестве Пушкина. «Он человек Древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления (“Пир во время чумы”), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, соприкоснулся с ними как родной, что он может *перевосплащаться* в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить всё многообразие национальностей и снять все противоречия их». Так говорил Достоевский в речи на открытии памятника Пушкину в Москве в июне 1880 года.

Это свойство всемирной отзывчивости нашего народа Достоевский связывал с первоосновами русской духовности – с православием, которому открыто *сердечное* знание Христа и глубокое чувство братства, радостное принятие и утверждение чужого «я». Мессианскую, объединительную роль России Достоевский видел не в стремлении погасить индивидуальные особенности разных народов, а в таланте соединять их многообразие в «соборном» христианском синтезе, в котором каждая нация и народность получает в симфоническом единстве с другими дополнительный стимул для собственного развития.

Подобно славянофилам, почвенники считали, что «русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент». Но, в отличие от славянофилов, они не отрицали положительной роли реформ Петра I и «европеизированной» интеллигенции, призванной нести народу просвещение и культуру на основе русских духовных ценностей и нравственных идеалов. Именно таким «русским европейцем» был в глазах почвенников Пушкин.

Аполлон Григорьев в своих критических статьях пытался снять противоречие, возникшее между теориями «чистого искусства» и критическими позициями революционных демократов. Свою критику он называл *органической*. «Поэты суть голоса, масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох – *организмов во времени* и народов – *организмов в пространстве*... Понятие об искусстве для искусства является в эпоху упадка, в эпоху разъединения сознания немногих лиц, утончённого чувства дилетантов с народным сознанием, с чувством масс... Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое...»

Казалось бы, на почве демократизма и общественности Григорьев мог сойтись с Чернышевским и Добролюбовым. Однако этого не произошло. Во-первых, почвенник был решительным противником революции. А во-вторых, революционеры-демократы были неприемлемы для него как рационалисты-просветители, уверовавшие в решающую силу разума, в расчёт с его расчётом выгод.

Аполлон Григорьев утверждал, что в жизни человек должен следовать не рассудочной, формально-логической, а *цветной* или *органической* истине, высшее воплощение которой осуществляется лишь в искусстве. Только искусство полно и целостно осмысливает жизнь в духе органической, а не рассудочной истины. «Теории, как итоги, выведенные из прошлого рассудком, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они, как на жизнь, опираются». Поэтому теории никогда не рожают ничего нового, живого, органического. Одно искусство способно дать его, способно воодушевить человека своими цветными истинами, своими идеалами. «Для того чтобы в мысль поверили, нужно, чтобы мысль приняла тело, и, с другой стороны, мысль не может принять тела, если она не рождена, а сделана искусственно». Рождают мысли не отвлечённые от живой жизни теоретики, а художники-творцы.

Искусство выражает сущность стремлений и идеалов народа. Говорить от лица народа, его голосом – вот высшая цель, к которой должен стремиться художник. В русской литературе это назначение искусства полнее всего реализовал Пушкин. По словам Григорьева, Пушкин – «первый и полный представитель» «общественных и нравственных наших сочувствий».

Пушкинские начала в современной литературе наиболее органично развивает Островский. «Новое слово Островского есть самое старое слово – народность». В полемике с добролюбовским взглядом на Островского как на обличителя «тёмного царства» Григорьев писал: «Островский столь же мало обличитель, как он мало идеализатор. Оставимте его быть тем, что он есть, – великим народным поэтом, первым и единственным выразителем народной сущности в её многообразных проявлениях».

Аполлон Григорьев не принимал основной пафос революционно-демократической эстетики, утверждавшей, что критик не только объясняет явления жизни и искусства, но и произносит приговор над ними, способствующий переделке жизни в интересах народа. По Григорьеву, такая критика видит «не мир, художником создаваемый, а мир, заранее начертанный теориями» и судит «мир художника не по законам, в существовании этого мира лежащим, а по законам, сочинённым теориями».

Учеником Григорьева считал себя другой критик почвеннического направления – Н. Н. Страхов. В своих статьях он отмечал зарождение русского культурно-исторического типа, который пользуется открытиями европейского просвещения, но идёт своей дорогой: «В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания в сторону западноевропейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели – и которые вместе с тем совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем народе».

Формулу этого особого душевного склада русского человека дал, по Страхову, Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир»: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». В этой формуле Страхов видел указание на иной, высший тип для всемирной истории, по которому она ещё никогда не двигалась, за исключением, может быть, Отечественной войны 1812 года. Он хранится бессознательно, как нравственный идеал, в душе русского народа.

В современной литературе Толстой играет ту же роль, какую в первой половине XIX века играл Пушкин. В «Войне и мире» Страхов видел русский вариант героической эпопеи. Толстой в ней уловил истоки особого русского героизма: «Мы сильны *всем народом*, сильны тою силою, которая живёт в самых простых и смиренных личностях – вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Истинным героем народной войны, олицетворением духовной силы её неслучайно стал у Толстого не «колючий» Тихон Щербатый, а добрый, простой и правдивый Платон Каратаев. «В лице Каратаева Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живёт в его простых сердцах».

Страхов первым в нашей критике показал трагизм характера Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети». «Базаров, – писал он, – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою». Страхов же впервые указал на вечный смысл тургеневского романа: «Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не *тех* отцов и детей, каких хотелось бы другим, то *вообще* отцов и *вообще* детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно».

Страхов в истории русской критики второй половины XIX века явился единственным глубоким и тонким истолкователем «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Свою работу о «Войне и мире» он не случайно называл «критической поэмой в четырёх песнях». Сам Лев Толстой, считавший Страхова своим единственным духовным другом, сказал: «Одно из счастлих, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов».

Вопросы и задания

1. Сопоставьте русскую литературу начала 19 века с литературой второй его половины.
2. Объясните своеобразие «поэтической эпохи» 1850-х годов.
3. Дайте анализ расстановки общественных сил в 1840–1860-е годы.
4. Раскройте своеобразие литературно-критических взглядов Чернышевского и Добролюбова, принципов их «реальной критики».
5. Дайте характеристику общественной и литературно-критической программы нигилистов журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева.
6. В чём своеобразие «эстетической критики» либеральных западников А. В. Дружинина и П. В. Анненкова?
7. Раскройте общественную и литературно-критическую программу славянофилов.
8. В чём своеобразие литературной критики «почвенников» А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова?

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889)





Гражданская казнь

19 мая 1864 года на Мытнинской площади в Петербурге произошло событие, которое навсегда вошло в летописи русского общественного движения. Было туманное утро. Моросил холодный дождь. Струйки воды скользили по чёрному столбу с цепями, падали на землю с намокшего дощатого помоста. К восьми часам утра здесь собралось более двух тысяч человек. Показалась карета, окружённая конными жандармами. На помост поднялся Николай Гаврилович Чернышевский. Палач снял с него шапку, началось чтение приговора. Не очень грамотный чиновник в одном месте поперхнулся и вместо «социалистических» выговорил «*сицилических* идей». По бледному лицу Чернышевского скользнула усмешка. В приговоре объявлялось, что «за злоумышление к ниспровержению существующего порядка» он лишается «всех прав состояния» и ссылается «в каторжную работу на 14 лет», а затем «поселяется в Сибири навсегда».

Чтение прекратилось. Чернышевского поставили на колени, сломали над головой шпагу... По окончании церемонии единомышленники бросились к карете, прорвав линию городских... Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Кто-то крикнул: «Прощай, Чернышевский!»

На другой день, 20 мая 1864 года, в кандалах, под охраной жандармов, Чернышевского отправили в Сибирь, где ему суждено было прожить без малого 20 лет в отрыве от общества, от родных, от любимого дела. Хуже всякой каторги оказалось это изнуряющее бездействие, эта обречённость на обдумывание ярко прожитых и внезапно оборванных лет...

Детские годы

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 (24) июля 1828 года в Саратове в семье протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского и его жены Евгении Егоровны (урождённой Голубевой). Оба деда его и прадед по материнской линии были священниками. Дед, Егор Иванович Голубев, протоиерей Сергиевской церкви в Саратове, скончался в 1818 году, и саратовский губернатор обратился к пензенскому архиерею с просьбой прислать на освободившееся место «лучшего студента» с условием, как было принято в духовном сословии, женитьбы на дочери умершего протоиерея. Достойным человеком оказался библиотекарь Пензенской семинарии Гавриил Иванович Чернышевский, человек высокой учёности и безукоризненного поведения. В 1816 году он был замечен известным государственным деятелем М. М. Сперанским, попавшим в опалу и занимавшим должность пензенского губернатора. Сперанский предложил Гавриилу Ивановичу поехать в Петербург, но по настоянию матери он отказался от лестного предложения, сулившего ему блестящую карьеру государственного деятеля. Об этом эпизоде в своей жизни Гавриил Иванович вспоминал не без сожаления и перенёс несбывшиеся мечты молодости на своего единственного сына, талантом и способностями ни в чём не уступавшего отцу.

В доме Чернышевских царили достаток и тёплая семейная атмосфера, одухотворённая глубокими религиозными чувствами. «Все грубые удовольствия, – вспоминал Чернышевский, – казались мне гадки, скучны, нестерпимы; это отвращение от них было во мне с детства, благодаря, конечно, скромному и строго нравственному образу жизни всех моих близких старших родных». К родителям своим Чернышевский всегда относился с сыновним почтением и благоговением, делился с ними заботами и планами, радостями и огорчениями. В свою очередь, мать любила своего сына беззаветно, а для отца он был ещё и предметом нескрываемой гордости. С ранних лет мальчик обнаружил исключительную природную одарённость. Отец уберёг его от духовного училища, предпочитая углублённое домашнее образование. Он сам преподавал сыну латинский и греческий языки, французским мальчик успешно занимался самостоятельно, а немецкому его учил немец-колонист Греф. В доме отца была хорошая библиотека, в которой, наряду с духовной литературой, находились сочинения русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя, а также современные журналы. В «Отечественных записках» мальчик читал переводные романы Диккенса, Жорж Санд, увлекался статьями В. Г. Белинского. Так что с детских лет Чернышевский превратился, по его собственным словам, в настоящего «пожирателя книг».

Казалось бы, семейное благополучие, религиозное благочестие, любовь, которой с детства был окружён мальчик, – ничто не предвещало в нём будущего отрицателя, ниспровергателя основ существовавшего в России общественного строя. Однако ещё И. С. Тургенев обратил внимание на одну особенность русских радикалов: «Все истинные *отрицатели*, которых я знал – без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.), происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у *деятелей*, у отрицателей всякую тень *личного* негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни». Сама же эта чуткость к чужому горю и страданиям ближнего предполагала высокое развитие христианских нравственных чувств, совершавшееся в семейной колыбели. Сила отрицания питалась и поддерживалась равновеликой силой веры, надежды и любви. По контрасту с миром и гармонией, царившими в семье, резала глаза общественная неправда, так что с детских лет Чернышевский стал задумываться, почему «происходят беды и страдания людей», пытался «разобрать, что правда и что ложь, что добро и что зло».

Саратовская духовная семинария

В 1842 году Чернышевский поступил в Саратовскую духовную семинарию своекоштным студентом, живущим дома и приезжающим в семинарию лишь на уроки. Смирный, тихий и застенчивый, он был прозван бедными семинаристами «дворянчиком»: слишком отличался юный Чернышевский от большинства своих товарищей – и хорошо одет, и сын всеми почитаемого в городе протоиерея, и в семинарию ездит в собственной пролётке, и по уровню знаний на голову выше однокашников. Сразу же попал он в список лучших учеников, которым вместо обычных домашних уроков педагоги давали специальные задания на предложенную тему.

В семинарии царили средневековые педагогические принципы, основанные на убеждении, что телесные страдания способствуют очищению человеческой души. Сильных студентов поощряли, а слабых наказывали. Преподаватель словесности и латинского языка Воскресенский частенько карал грешную плоть своих воспитанников, а после телесного наказания приглашал домой на чай, направляя их души на стезю добродетели.

В этих условиях умные студенты оказывались своего рода спасителями и защитниками слабых. Чернышевский вспоминал: «В семинарском преподавании осталось много средневековых обычаев, к числу их принадлежат диспуты ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель говорит: “Кто имеет сделать возражение?” Ученик, желающий отличиться, – отличиться не столько перед учителем, сколько перед товарищами, – встаёт и говорит: “Я имею возражение”. Начинается диспут; кончается он часто ругательствами возразившему от учителя; иногда возразивший посылается и на колени; но зато он приобретает между товарищами славу гения. Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет человек пять “гениев”, перед которыми совершенно преклоняются товарищи...» Более того, в каждом классе существовал ещё и духовный, интеллектуальный вождь – тот, кто «умнее всех». Чернышевский легко стал таким вождём.

По воспоминаниям его однокашников, «Николай Гаврилович приходил в класс раньше нарочито, чем было то нужно, и с товарищами занимался переводом. Подойдёт группа человек 5–10, он переведёт трудные места и объяснит; только что отойдёт эта – подходит другая, там третья и т. д. И не было случая, чтобы Чернышевский выразил, хоть бы полусловом, своё неудовольствие».

Петербургский университет

Так с ранних лет укрепилось в Чернышевском чувство умственной исключительности, а вслед за ним и вера в силу человеческого разума, преобразующего окружающий мир. Не закончив семинарии, проучившись в ней неполных четыре года из шести, он оставил её с твёрдым намерением продолжить образование в университете. Почему Чернышевский отказался от блестящей духовной карьеры, которая открывалась перед ним? В разговоре с приятелем перед отъездом в Петербург молодой человек сказал: «Славы я желал бы». Вероятно, его незаурядные умственные способности не находили удовлетворения; уровень семинарской учёности он перерос, занимаясь самообразованием.

Не исключено, что к получению светского образования Чернышевского подтолкнул отец, только что переживший незаслуженную опалу со стороны духовного начальства. Положение духовного сословия в тогдашней России было далеко не блестящим. Начиная с синодальной реформы Петра I, Церковь попала в зависимость от государства, от чиновников, от светских властей. Университетское же образование давало при определённых умственных способностях перспективу перехода из духовенства в привилегированное дворянское сословие. Отец помнил о своей молодости и хотел видеть в сыне осуществление своих несбывшихся надежд. Так или иначе, но в мае 1846 года юноша в сопровождении любимой матушки отправился «на долги» в далёкую столицу держать экзамены в университет.

Недоучившийся семинарист 2 августа 1846 года вступил в дерзкое соперничество с дворянскими сынками, выпускниками пансионов и гимназий, и одержал блестящую победу. 14 августа он зачислен на историко-филологическое отделение философского факультета.

На первом курсе Чернышевский много занимается, читает Лермонтова, Гоголя, Шиллера, начинает вести дневник. Его увлекают идеи нравственного самосовершенствования, настольной книгой по-прежнему является Библия. Чернышевский сочувственно относится к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя и осуждает неприятие этой книги Белинским.

Вспыхнувшая в феврале 1848 года во Франции революция существенно изменяет круг интересов студента-второкурсника. Его увлекают философские и политические вопросы. В дневнике появляются характерные записи: «Не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех!»

В сентябре 1848 года Чернышевский знакомится с участником кружка М. В. Петрашевского Александром Владимировичем Ханыковым, который даёт ему читать сочинения французского социалиста-утописта Фурье. Достоевский замечал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». В социализме видели «новое откровение», продолжение и развитие основных положений этического учения Иисуса Христа. «Дочитал нынче утром Фурье, – записывает в дневнике Чернышевский. – Теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений...»

Но более глубокое знакомство с социалистическими учениями рождает сомнение в тождестве социализма с христианством: «Если это откровение, – последнее откровение, да будет оно, и что за дело до волнения душ слабых, таких, как моя... Но я не верю, чтоб было новое, и жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о Нём».

Чернышевский уподобляет современную цивилизацию эпохе Рима времён упадка, когда разрушались основы старого мирозерцания и всеми ожидался приход мессии, спасителя, провозвестника новой веры. И юноша готов остаться с истиной нового учения и даже уйти от Христа, если «последнее откровение» социализма разойдётся с христианством.

Более того, он чувствует в своей душе силы необъятные. Ему хочется стать самому родоначальником учения, способного обновить мир и дать «решительно новое направление» всему человечеству. Примечательна в связи с этим такая трогательная деталь. Дневники пишутся специально изобретённым методом скорописи, непонятной для непосвящённых. Однажды Чернышевский замечает: «Если я умру, не перечитавши хорошенько их и не переписавши на общепонятный язык, то ведь это пропадёт для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным человеком».

23 апреля арестовали петрашевцев, в их числе и А. В. Ханькова. По счастливой случайности Чернышевский не оказался привлечённым по этому политическому процессу. И однако юноша не падает духом. Летом 1849 года он записывает: «Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то скоро ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам». По окончании университета он мечтает стать журналистом и предводителем «крайне левой стороны, нечто вроде Луи Блана», известного деятеля французской революции 1848 года.

Саратовская гимназия

Однако годы «мрачного семилетия» не дают развернуться его призванию. Вскоре по окончании университета, в марте 1851 года Чернышевский уезжает в Саратов и определяется учителем в тамошнюю гимназию. По воспоминаниям одного из его учеников, «ум, обширное знание... сердечность, гуманность, необыкновенная простота и доступность... привлекли, связали на всю жизнь сердца учеников с любящим сердцем молодого педагога».

Иначе воспринимали направление молодого учителя его коллеги по гимназии. Директор её восклицал: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорит ученикам о вреде крепостного права. Это – вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!» Причём слова директора ничего не преувеличивали, ибо сам вольнодумец-учитель признавал, что говорит учащимся истины, которые «пахнут каторгою».

И всё же участь провинциального педагога была для кипящих сил Чернышевского явно недостаточной. «Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений, – сетует в дневнике Чернышевский. – Как бы то ни было, а всё-таки у меня настолько самолюбия ещё есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен ехать в Петербург».

Незадолго до отъезда он делает предложение дочери саратовского врача Ольге Сократовне Васильевой. Любовь Чернышевского своеобразна: обычное молодое чувство осложнено мотивом спасения, освобождения невесты из-под деспотической опеки родителей. Первое условие, которое ставит перед избранницей своего сердца Чернышевский, таково: «... Если бы вы выбрали себе человека лучше меня – знайте, что я буду рад видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть со мною; но знайте, что это было бы для меня тяжёлым ударом».

Второе условие Чернышевский сформулировал так: «... У нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нём... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня». «Не испугает и меня», – ответила Ольга Сократовна в духе «новых женщин», будущих героинь романов Чернышевского.

Подступы к новой эстетике

В мае 1853 года Чернышевский с молодой женой уезжает в Петербург. Здесь он получает место преподавателя словесности в кадетском корпусе, начинает печататься в журналах – сначала в «Отечественных записках» А. А. Краевского, а после знакомства осенью 1853 года с Н. А. Некрасовым – в «Современнике». Как витязь на распутье, он стоит перед выбором, по какому пути идти: журналиста, профессора или столичного чиновника. Однако ещё В. Г. Белинский говорил, что для практического участия в общественной жизни разночинцу были даны «только два средства: кафедра и журнал». По приезде в Петербург Чернышевский начинает подготовку к сдаче магистерских экзаменов по русской словесности и работает над диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности».

Литература и искусство привлекают его внимание не случайно. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский говорит: «Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа...»

После смерти Белинского, в эпоху «мрачного семилетия», его бывшие друзья Дружинин, Анненков, Боткин отошли от принципов демократической критики. Опираясь на эстетическое учение немецкого философа-идеалиста Гегеля, они утверждали, что художественное творчество не зависимо от действительности, что настоящий писатель уходит от противоречий жизни в чистую и свободную от суеты мирской сферу вечных идеалов добра, истины, красоты. Эти вечные ценности не открываются в жизни, а, напротив, привносятся искусством в жизнь, восполняя её роковое несовершенство, её неустранимую дисгармоничность и неполноту. Только искусство способно дать идеал совершенной красоты, которая не может воплотиться в окружающей действительности. Такие эстетические взгляды, по мнению Чернышевского, отвлекали внимание писателя от вопросов общественного переустройства, лишали искусство его действенного характера, его способности обновлять и улучшать жизнь.

В диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский выступил против этого «рабского преклонения перед старыми, давно пережившими себя мнениями». Около двух лет он добивался разрешения на её защиту: университетские круги настаивали и пугал «дух свободного исследования и свободной критики», заключённый в ней.

Наконец 10 мая 1855 года на историко-филологическом факультете Петербургского университета состоялось долгожданное событие. По воспоминанию Н. В. Шелгунова, «небольшая аудитория, отведённая для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодёжи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах... Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твёрдостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнёв обратился к Чернышевскому с таким замечанием: “Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!” И действительно, Плетнёв читал не это, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который её привела диссертация. В ней было всё ново и всё заманчиво...»

Чернышевский, опираясь на материалистическую философию Фейербаха, действительно по-новому решает в диссертации основной вопрос эстетики о прекрасном: «прекрасное есть жизнь», «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям».

Отличие от Гегеля и его русских последователей, Чернышевский видит источник прекрасного не в искусстве, а в жизни. Формы прекрасного не привносятся в жизнь искусством, а существуют объективно, независимо от искусства в самой действительности.

Утверждая формулу «прекрасное есть жизнь», Чернышевский сознает, что объективно существующие в жизни формы сами по себе нейтральны в эстетическом отношении. Они осознаются как прекрасные лишь в свете определённых человеческих понятий. Но каков же

тогда критерий прекрасного? Может быть, верна формула, что о вкусах не спорят, может быть, сколько людей – столько и понятий о прекрасном?

Чернышевский показывает, что вкусы людей далеко не произвольны, что они определены социально: у разных сословий общества существуют разные представления о красоте. Причём истинные, здоровые вкусы представляют те сословия общества, которые ведут трудовой образ жизни: «у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя...» А потому «в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе». И наоборот, светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли».

Ясно, что диссертация Чернышевского была первым в России манифестом демократической эстетики. Подчиняя искусство действительности, Чернышевский создавал принципиально новую эстетическую теорию. Его работа, с восторгом встреченная разночинной молодежью, вызвала раздражение у многих выдающихся русских писателей. Тургенев, например, назвал её «мерзостью и наглостью неслыханной». Это было связано с тем, что Чернышевский разрушал фундамент идеалистической эстетики, на которой было воспитано целое поколение русских культурных дворян 30–40-х годов.

К тому же труд Чернышевского не был свободен от явных ошибок и упрощений. «Когда палка искривлена в одну сторону, – говорил он, – её можно выпрямить, только искривив в противоположную сторону: таков закон общественной жизни». В работе Чернышевского таких «искривлений» очень много. Так, он утверждает, например, что «произведения искусства не могут выдержать сравнения с живой действительностью»: гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение, но за недостатком лучшего человек довольствуется худшим, за недостатком вещи – её суррогатом». С подобным принижением роли искусства, разумеется, не могли согласиться ни Тургенев, ни Лев Толстой.

Раздражало их в диссертации Чернышевского и утилитарное, прикладное понимание искусства, когда ему отводилась роль простой иллюстрации тех или иных научных истин. Тургенев долго помнил оскорбивший его художественную натуру пассаж Чернышевского об искусстве как «суррогате действительности» и в несколько изменённом виде вложил его в уста Базарова. Рассматривая альбом с видами Саксонской Швейцарии, Базаров кичливо замечает Одинцовой, что художественного вкуса у него нет, да он в нём и не нуждается: «...Но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например... Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах».

Однако эти упрощённые суждения об искусстве, сделанные в пылу полемического задора, нисколько не умаляют истины общего пафоса эстетических воззрений Чернышевского. Вслед за Белинским он раздвигает границы искусства с целью обогащения его содержания. «Общеинтересное в жизни – вот содержание искусства», – утверждает он. Точно так же Чернышевский раздвигает и границы эстетического, которые в трудах его предшественников замыкались, как правило, в сфере искусства. Чернышевский показывает, что область эстетического чрезвычайно широка: она охватывает весь реальный мир, всю действительность.

Диссертация заканчивается рассуждениями о задачах искусства. Первое и общее значение всех произведений искусства состоит в том, что они воспроизводят интересные для человека явления действительности. Но кроме воспроизведения жизни, искусство имеет ещё и другую задачу – объяснения, истолкования её. Наконец, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора.

В литературном творчестве реализация этих трёх задач: *воспроизведения, объяснения и приговора* – превращают литературу в «учебник жизни».

Несмотря на шумный успех, царивший в аудитории во время защиты диссертации, учёная карьера Чернышевского не состоялась. Диссертация «была положена под сукно». Да и время наступило боевое: Чернышевского увлекла журнальная работа. Сначала он вёл в «Современнике» отдел критики, а потом оставил его и обратился к вопросам экономическим и политическим, к обоснованию теории социализма.

Литературно-критическая деятельность Чернышевского

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский заявлял, что традиции критики Белинского 1840-х годов по-прежнему жизнеспособны. Отрицая теоретиков «чистого искусства», развивая идеи Белинского, Чернышевский писал: «Литература не может не быть служительницей того или иного направления идей: это назначение, лежащее в её натуре, – назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова “искусство должно быть не зависимо от жизни” всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать её служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу».

Однако в споре со своими идейными противниками Чернышевский вновь «перегибает палку» в противоположную сторону: за «гоголевским» направлением он признает «содержательность», «пушкинское» же обвиняет в «формотворчестве». «Пушкин был по преимуществу поэт формы... В его произведениях не должно искать главнейшим образом глубокого содержания, ясно осознанного и последовательного». Рассматривая искусство как разновидность общественно полезной деятельности, Чернышевский явно недооценивает его специфику. Он ценит в искусстве лишь сиюминутное, конкретно-историческое содержание, отвечающее интересам общества в данную минуту, и скептически относится к тому непреходящему и вечному, что делает произведение настоящего искусства интересным для разных времён и разных поколений.

Но в главном он остается прав: «Только те направления литературы достигают блестящего развития, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи». Определяя в «Очерках гоголевского периода...» национальное своеобразие нашей литературы, Чернышевский отмечал, что в России XIX века литература имела особые функции, не похожие на те, которые она выполняла в других странах Западной Европы: «Как бы мы ни стали судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в заведование других направлений умственной деятельности. В Германии, например, повесть пишется почти исключительно для той публики, которая не способна читать ничего, кроме повестей, – для так называемой “романной публики”. У нас не то: повесть читается и теми людьми, которые в Германии никогда не читают повестей, находя для себя более питательное чтение в различных специальных трактатах о жизни современного общества. У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещённых народов». Литература в России была, по словам Чернышевского, возведена в достоинство общенационального дела, сюда уходили наиболее жизнеспособные силы русского общества.

В своей литературно-критической деятельности Чернышевский постоянно стремился подвести читателя к выводам радикального характера. При этом его не очень интересовало то, что хотел сказать автор в своём произведении; главное внимание сосредоточивалось на том, что сказалось в нём невольно, иногда и вопреки желанию автора. Анализируя «Губернские очерки» Щедрина, Чернышевский видит за обличениями взяточничества провинциальных чиновников другую, более глубокую проблему: «Надо менять обстоятельства самой жизни

в ту сторону, где человеку не нужно будет прибегать ни ко лжи, ни к вымогательству, ни к воровству, ни к другим порочащим его поступкам».

Обращаясь к повести Тургенева «Ася» в статье «Русский человек на rendez-vous», Чернышевский не интересуется художественными объяснениями любовной неудачи героя, данными автором, не обращает внимания на тургеневскую философию любви. Для критика рассказчик в повести – типичный «лишний человек», время которого прошло и в жизни, и в литературе. Поэтому Чернышевский даёт ему такую бескомпромиссную оценку, которая затрагивает самолюбие Тургенева: «Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем ещё оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков <...> нам всё кажется (пустая мечта, но всё ещё неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто бы без него было бы нам хуже. Всё сильнее и сильнее развивается в нас мысль, что это мнение о нём – пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже остаётся нам находиться под её влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить...»

Стремление превратить литературно-критическую статью в политическую прокламацию особенно наглядно проявилось у Чернышевского в рецензии на рассказы из народного быта Николая Успенского, которая под названием «Не начало ли перемены?» увидела свет в ноябрьском номере «Современника» за 1861 год. Здесь Чернышевский обращал внимание, что характер изображения крестьянской жизни под пером писателя-демократа Н. Успенского резко отличается от писателей дворянского лагеря – Тургенева и Григоровича. Если писатели-дворяне стремились изображать народ лишь в симпатических его качествах с неизменным сочувствием и соучастием, то Н. Успенский пишет о народе «правду без всяких прикрас». Чернышевский видит в этой перемене очень знаменательный симптом зреющего революционного пробуждения русского крестьянства: «Очерки г. Успенского производят тяжёлое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского – очень хороший признак... Решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времён от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука избаловать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного».

Социально-политический аспект в осмыслении искусства был преобладающим в литературной критике Чернышевского и диктовался условиями общественной борьбы. Это не значит, что Чернышевский не чувствовал собственно художественного элемента в литературе. Так, он высоко оценивал интимную лирику Некрасова, называя её «поэзией сердца» и отдавая ей предпочтение перед стихами с тенденцией, с ярко выраженным гражданским содержанием. Перу Чернышевского принадлежит также замечательная статья, посвящённая «Детству», «Отрочеству» и «военным рассказам» Л. Н. Толстого. Критик даёт в ней классическое определение особому качеству психологизма Толстого – «диалектика души».

Общинное владение земель и теория «крестьянского социализма» Чернышевского

Начиная с 1857 года, когда молодой Добролюбов берёт в свои руки литературно-критический отдел «Современника», Чернышевский обращается к вопросам экономического и политического характера. Развивая идеи крестьянского социализма А. И. Герцена, он обращает внимание на сохранившееся в русском крестьянстве общинное владение землёй.

Земля в русских сёлах и деревнях, отведенная в пользование крестьянину, вплоть до коллективизации 1930-х годов находилась в собственности мира, сельского схода, а не отдельного лица. На миру решались вопросы об уравнительном переделе земли, на миру происходило избрание сельских властей, деревенских старост, здесь совершался сбор средств на общие расходы, решались мелкие гражданские и уголовные дела, споры между общинниками, осуществлялась организация взаимопомощи. Община пользовалась известной самостоятельностью в выполнении государственных повинностей: подушных податей, рекрутчины.

Существование демократического крестьянского самоуправления даже при крепостном праве обеспечивало мужикам известного рода независимость от произвола господ, особенно в оброчных, нечернозёмных имениях. Здесь помещики, обычно проживавшие в городах, иногда просто не знали своих крестьян и не могли соразмерить величину оброка с имущественной состоятельностью каждого отдельного крестьянина. Крестьяне сами раскладывали оброчную сумму, назначавшуюся помещиком на всё общество сразу, и делали это в зависимости от состоятельности каждого крестьянского двора.

Земля давалась крестьянской семье деревенским миром не в частную собственность, а в пользование. С изменением состава семей, уменьшением или увеличением работоспособных членов в них осуществлялись на мирском сходе периодические переделы земли. Переделы бывали общие и частные. При общем переделе происходила новая нарезка полос и развёрстка их между всеми членами общины. В ходе частных переделов в развёрстку поступала лишь часть общинной земли, делившаяся между небольшим числом домохозяев. Коренные переделы в общине происходили редко, как правило, в годы ревизии, частные же – ежегодно, так как они вызывались изменением состава семей и соответственно платёжной силы отдельных дворов. В одних дворах число тягловых работников прибывало в связи с переходом в совершеннолетие старших детей, в других – наоборот. Крестьяне старались выровнять надел в строгом соответствии с наличными силами и возможностями крестьянского двора.

Правовых законов по поводу развёрсток крестьянский мир не знал, земля делилась по нормам так называемого «обычного права», державшихся на вековых традициях, передававшихся мирскому сходу из поколения в поколение. Поскольку подушная подать и оброк взимались с мира в целом, а не с каждого отдельного двора, все в общине были связаны «круговой порукой». За несостоятельного домохозяина расходы возмещал мир в числе платёжеспособных его членов. Поэтому мир в целом и каждый общинник в отдельности были заинтересованы в благосостоянии и исправности каждого крестьянского двора, каждого члена общины. Лучший и состоятельный мужик был в ответе за отстающего соседа и, по мере возможности, не оставлял его в беде, стремился ему помочь. Даже в 1880-х годах, в период кризиса демократических основ крестьянского самоуправления, русский писатель Н. Н. Златовратский в «Очерках крестьянской общины (Деревенские будни)» насчитал около 15 видов «помочей», существовавших в сельской общине. Весь мир был заинтересован, чтобы каждый общинник хорошо удобрял свою землю, следил за её плодородием.

Переделу в общине подвергались далеко не все земли. Во временное единоличное владение переходили, как правило, лишь полосы пахотной земли. В общем пользовании оставались лесные угодья, реки и озёра с их рыбными богатствами, пастбища и сенокосные луга.

Последние в некоторых общинах и убирались всем миром, а затем собранное сено распределялось в соответствии с размерами душевых наделов каждой семьи, но иногда луга делились перед началом покоса. Мир нередко оставлял за собою и не пускал в передел определенную часть пахотной земли. Эти запасные участки крестьяне обрабатывали сообща, а полученный урожай продавали, используя доход для уплаты податей или для приобретения новых земель в мирское владение. Нередко обрабатываемый сообща кусок земли и собираемый на нём хлеб раздавался на пропитание немощным старикам, сиротам, вдовам и солдаткам. Доходы с этого участка подчас сохранялись на чёрный день: в случае пожара, например, община оказывала пострадавшим материальную помощь.

Естественно, что общинное владение землёй накладывало особый отпечаток на психологию русского крестьянина. Земля, в понимании русского мужика, не являлась собственностью частных лиц. Она была «мирской», «божьей». Надел крестьянину давал мир, который и являлся подлинным собственником, крестьянин же в качестве временного, единоличного владельца оказывался собственником условным.

Мирской сход – главный орган крестьянского самоуправления – состоял из работоспособных мужчин-общинников, жителей деревни. Но в нечернозёмных губерниях, где широко распространялись отхожие промыслы, где значительная часть мужского населения уходила в города, в сходках принимали участие и женщины-домохозяйки. Мирская сходка не имела ничего общего с европейским собранием. Прежде всего, на ней отсутствовал председатель, ведущий ход обсуждения. Каждый общинник по желанию вступал в разговор или перепалку, отстаивал свою точку зрения. Вместо голосования действовал принцип общего согласия. Недовольные переубеждались или отступали, и в ходе обсуждения вызревал провозглашавшийся старшим из общинников «мирской приговор». Большую роль на сходках играли старики, снискавшие авторитет житейской мудростью и нравственной безупречностью. К ним прислушивались, и сходка утихала, соглашаясь с их советами. В крестьянстве с осуждением относились к человеку, который «не даёт старикам слова вымолвить», ибо «старших и в орде почитают».

Поскольку в настоящее время Западная Европа, неудовлетворенная буржуазными формами земледелия, вынашивает идеалы социалистического общежития, есть ли необходимость России, сохранившей общественную собственность на землю, повторять тот путь, который проделал Запад? Ставя этот вопрос, Чернышевский отвечал на него так:

«1. Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как совершался у передового народа...

2. Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым...

3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного общественного явления, благодаря влиянию передового народа, прямо с низшей степени перескакивает в высшую, минуя средние степени...

4. При таком ускоренном ходе развития средние степени, пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося опытностью и наукою передового народа, достигают только теоретического бытия, как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности».

Поскольку «высшая степень развития по форме совпадает с его началом», Россия, по Чернышевскому, может прийти к высшей, социалистической стадии общественного развития, минуя промежуточную ступень буржуазной собственности на землю. При этом теоретики русской революционно-демократической мысли: Герцен, Чернышевский, Добролюбов – опирались в своём социалистическом учении на действительно существовавшие в крестьянской общине демократические начала общественного самоуправления.

В середине 1860-х годов Чернышевский становится одним из вдохновителей и руководителей подпольной революционной организации «Земля и воля». Правительство давно сле-

дит за его действиями и нетерпеливо ищет подходящего повода для ареста. В начале июля 1862 года на границе был задержан Павел Ветошников, который вёз в Россию корреспонденцию от А. И. Герцена из Лондона. В одном из писем Герцена охранка прочла: «Мы готовы издавать “Современник” здесь с Чернышевским» (издание журнала было тогда приостановлено правительством). Эти неосторожные слова Герцена и явились поводом для ареста Чернышевского. 7 июля 1862 года он был взят под следствие и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

Творческая история романа «Что делать?»

Началось двухлетнее следствие; кроме связи с «лондонскими пропагандистами» Чернышевского обвиняли в авторстве революционной прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Здесь, в одиночной камере Алексеевского рavelина, в течение четырех месяцев он напряжённо работает над романом «Что делать?» (начат 4 декабря 1862 и закончен 14 апреля 1863 года).

Что побудило критика и публициста Чернышевского обратиться к беллетристике? Существовало мнение, что это связано с экстремальными условиями, в которых он оказался: литературная форма была избрана как удобный способ зашифровки прямого публицистического слова. Отсюда делался вывод об эстетической неполноценности романа.

Однако факты подтверждают обратное. Чернышевский брался за перо беллетриста ещё в Саратове. Заветная мечта написать роман теплилась и в Петербурге. Но журнальная работа втягивала Чернышевского в напряжённую общественную борьбу, требовала прямого и отточенного публицистического слова. Теперь ситуация изменилась. В условиях изоляции, в одиночке Петропавловской крепости он получил возможность реализовать давно задуманный и уже выношенный замысел. Отсюда – необычайно короткий срок, который потребовался для его осуществления.

Жанровое своеобразие романа

Конечно, роман «Что делать?» – произведение не совсем обычное. К нему неприменимы те мерки, какие применяются к оценке прозы Тургенева, Толстого или Достоевского. Перед нами философско-утопический роман, созданный по законам этого жанра. Мысль о жизни здесь преобладает над непосредственным изображением её. Роман рассчитан не на чувственную, образную, а на рациональную, рассудочную способность читателя. Не восхищаться, а думать серьёзно и сосредоточенно – вот к чему приглашает читателя Чернышевский.

Как просветитель, он полагается на действенную, преобразующую мир силу рационального мышления. Сказывается и семинарское образование с его верой в божественную природу слова. Расчёт Чернышевского оправдался: русская демократия приняла роман как программное произведение, автор уловил возрастающую роль идей в жизни современного разночинца, не обременённого культурными традициями, выходца из средних слоёв русского общества.

Может показаться странной публикация романа «Что делать?» на страницах «Современника» в 1863 году. Ведь это революционное по содержанию произведение прошло через две строжайшие цензуры. Сначала его проверяли чиновники следственной комиссии, а потом роман читал цензор «Современника». И обе цензуры дали добро на выход в свет!

Цензуру обвёл вокруг пальца хитроумный автор. Он так пишет свой роман, что человек консервативного и даже либерального образа мыслей не в состоянии пробиться к сердцевине художественного замысла. Его склад ума, его психика, воспитанные на произведениях иного типа, его сложившиеся эстетические вкусы должны послужить надёжным барьером к проникновению в эту сокровенную суть. Роман вызовет у такого читателя эстетическое раздражение – самую надёжную помеху для проникновенного понимания. «... Чернышевского – воля ваша! – едва осилил, – пишет своему приятелю Тургенев. – Его манера возбуждает во мне физическое отвращение, как цитварное семя. Если это – не говорю уже искусство или красота – но если это ум, дело – то нашему брату остаётся забиться куда-нибудь под лавку. Я ещё не встречал автора, фигуры которого *воняли*: г. Чернышевский представил мне сего автора».

Впоследствии, когда необыкновенная популярность «Что делать?» заставила власть опомниться, и, побеждая в себе раздражение, охранители прочли роман внимательно и поняли свою ошибку, дело уже было сделано. Роман разошёлся по градам и весям России. Наложённый запрет на его повторную публикацию лишь усилил интерес и увеличил круг читателей.

Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения заключалось в позитивном, жизнеутверждающем его содержании, в том, что он явился «учебником жизни» для нескольких поколений русских революционеров. Вместе с тем роман «Что делать?» оказал огромное влияние на развитие нашей литературы: никого из русских писателей он не оставил равнодушным. Как мощный бродильный фермент, роман вызвал на размышления, на прямую полемику. Отзвуки её хорошо прослеживаются в эпилоге «Войны и мира» Толстого, в образах Лужина, Лебезятникова и Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского, в романе Тургенева «Дым».

Диалоги с «проницательным читателем»

Писатель использует в романе остроумный ход: он вводит в повествование фигуру «проницательного читателя» и время от времени вступает с ним в диалог, исполненный юмора и иронии. Облик «проницательного читателя» весьма сложен. Иногда это консерватор, и в споре с ним Чернышевский предвосхищает все нападки на роман охранительной критики, заранее даёт им отпор. Но иногда это мещанин, человек с ещё не развитым умом и вкусом. Его Чернышевский вразумляет, учит вдумываться в ход авторской мысли. Диалоги с «проницательным читателем» являются школой идейного воспитания. Когда дело сделано, автор изгоняет «проницательного читателя» из своего романа.

Композиция романа

«Что делать?» имеет очень чёткое и продуманное построение. В его основе лежит авторская мысль, движущаяся «по четырём поясам: пошлые люди, новые люди, высшие люди и сны». С помощью такой композиции Чернышевский показывает жизнь в развитии, в поступательном движении от прошлого через настоящее к будущему. Внимание к движущейся жизни – характерная особенность художественного мышления 1860-х годов.

Старые люди

Мир старых или пошлых людей у Чернышевского не един. К первой группе принадлежат лица дворянского происхождения. Склад их натур определяет лишённое трудовых основ паразитическое существование. «Где праздность – там и гнусность», – говорит в романе Жюли. Иначе относится Чернышевский к людям из другой, буржуазно-мещанской среды. Жизнь заставляет их постоянным и напряженным трудом добывать средства к существованию. Таково семейство Розальских с Марьей Алексеевной во главе. В отличие от дворян, Розальская деятельна и предприимчива, хотя труд её принимает извращённые формы: всё подчинено в нём интересам личной выгоды, во всём видится эгоистический расчёт. И всё же Чернышевский сочувствует ей и вводит в роман главу «Похвальное слово Марье Алексеевне». Почему?

Ответ на этот вопрос даётся во втором сне Веры Павловны. Ей снится поле, разделённое на два участка: на одном растут свежие, здоровые колосья, на другом – чахлые всходы. Выясняется, что на первом почва – «реальная», потому что здесь есть движение воды, а всякое движение – труд. На втором же участке – «фантастическая», ибо он заболочен и вода в нём застоялась. Чудо рождения новых колосьев творит солнце. Освещающая и согревающая своими лучами «реальную» почву, оно вызывает к жизни добрые всходы. Но солнце не всеильно – на почве «фантастической» ничего не родится и при нём. «До недавнего времени не знали, как возвращать здоровье таким полянам, но теперь открыто средство; это – дренаж: лишняя вода сбегает по канавам, остаётся воды сколько нужно, и она движется, и поляна получает реальность».

Сон Веры Павловны напоминает развёрнутую притчу. Мышление притчами – характерная особенность духовной прозы. Её отголоски чувствуются и у Чернышевского. Здесь автор «Что делать?» ориентируется на культуру, на образ мысли демократических читателей, которым духовная литература знакома с детства.

Ясно, что под почвой «реальной» подразумеваются буржуазно-мещанские слои общества, ведущие трудовой образ жизни, близкий к естественным потребностям человеческой природы. Потому-то из этого сословия и выходят все новые люди: Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна. Почва «фантастическая» – дворянский мир, где отсутствует труд, где нормальные потребности человеческой природы извращены. Перед этой почвой бессильно солнце, но всеилен «дренаж», то есть революция – коренное переустройство общества, которое заставит дворян трудиться. А пока солнце вершит свою творческую работу лишь над почвой «реальной», вызывая из её среды новую поросль людей, способных двигать общество вперёд.

Что олицетворяет в сне-притче Веры Павловны солнце? Конечно же, «свет» разума, *просвещение*. Становление всех «новых людей» начинается с чтения книг «просветителей» – французских социалистов. Дочерью солнца является «светлая красавица», «сестра своих сестёр, невеста своих женихов», аллегорический образ любви-революции.

Чернышевский утверждает, что солнце разумных социалистических идей помогает людям из буржуазно-мещанской среды сравнительно легко и быстро понять истинные потребности человеческой природы, так как почва для этого восприятия подготовлена трудом. Невосприимчивы к солнцу разума те общественные слои, нравственная природа которых развращена паразитическим существованием.

Новые люди

Что же отличает «новых людей» от «пошлых», типа Марьи Алексевны? Новое понимание человеческой «выгоды». Для Марьи Алексевны выгодно то, что удовлетворяет её «неразумный», мещанский эгоизм. Новые люди видят свою «выгоду» в общественной значимости своего труда, в наслаждении делать добро другим, приносить пользу окружающим – в «разумном эгоизме».

Новые люди отрицают официальную мораль жертвы и долга. Лопухов говорит: «Жертва – это сапоги всмятку». Все поступки, все дела человека только тогда по-настоящему жизнеспособны, когда они совершаются не по принуждению, а по внутреннему влечению, когда они согласуются с желаниями и убеждениями. Всё, что в обществе совершается под давлением долга, оказывается неполноценным и мертворождённым. Такова, например, дворянская реформа «сверху» – «жертва», принесённая народу.

Мораль новых людей высвобождает творческие возможности человеческой личности, радостно осознавшей истинные потребности природы человека, основанные, по Чернышевскому, на «инстинкте общественной солидарности». В согласии с этим инстинктом Лопухову приятно заниматься наукой, а Вере Павловне – возиться с людьми, заводить швейные мастерские на справедливых социалистических началах.

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев), посвятивший критическому разбору романа Чернышевского специальную статью, деликатно обратил внимание, что Чернышевский тут впадает в «прелесть», идеализируя природу человека, уповая на «инстинкты общественной солидарности». «Не мечтай достигнуть этого сам собою или своей свободной волей; сам себя не сломишь или, пожалуй, сломишь, но не выпрямишь. Так или иначе придётся и тебе проходить этот тяжёлый опыт, который описал также апостол Павел: “Сам не понимаю, что делаю; потому что *не то* делаю, *что хочу*, а делаю, что ненавижу... Уже *не я* то делаю, а живущий во мне грех... Несчастный я человек!” Да; спасение твоё уж не в собственной твоей свободной воле, не в делах твоих, а в благодати Божией, которая переделала бы совсем твоё внутреннее состояние, которую тебе и надо повернее узнать и серьёзно принять и твёрдо, деятельно держать»¹.

Довольно легко и по-новому решают новые люди и роковые для человечества любовные проблемы. Чернышевский убеждён, что основным источником интимных драм является социальное неравенство между мужчиной и женщиной, зависимость женщины от мужчины. Эмансипация изменит характер любви. Исчезнет чрезмерная сосредоточенность женщины на любовных и семейных чувствах. Участие её наравне с мужчиной в общественных делах снимет драматизм в любовных отношениях, смягчит, а потом и уничтожит чувство ревности.

Новые люди безболезненно разрешают наиболее драматический в человеческих отношениях конфликт. Лопухов, узнав о любви Веры Павловны к Кирсанову, добровольно уступает дорогу своему другу, сходя со сцены. Причём со стороны Лопухова это будто бы и не жертва, а «самая выгодная выгода». Произведя «расчёт выгод», он испытывает радостное чувство удовлетворения от поступка, который доставляет счастье не только Кирсанову, Вере Павловне, но якобы и ему самому.

Нельзя не отдать должное вере Чернышевского в безграничные возможности разумной человеческой природы. Подобно Достоевскому, он убеждён, что человек на Земле – существо переходное, что в нём заключены громадные, ещё не раскрывшиеся творческие потенции, которым суждено реализоваться в будущем. Но Достоевский видит пути раскрытия этих возможностей в религии, с помощью Божией благодати. Природа человека сама по себе, изнутри, несовершенна, помрачена первородным повреждением. Чернышевский же доверяется силам

¹ Феодор (А. М. Бухарев), архим. О духовных потребностях жизни. М., 1991. – С. 122.

разума, способного, по его мнению, пересоздать человека, поскольку несовершенство заключено не в человеке, а в уродливых обстоятельствах, извращающих добрую его природу.

Конечно, со страниц романа веет утопией. Чернышевскому приходится разьяснять читателю, как «разумный эгоизм» Лопухова не пострадал от принятого им решения. Писатель явно переоценивает роль разума. От рассуждений Лопухова отдаёт рассудочностью, осуществляемый им самоанализ вызывает у читателя ощущение некоторой искусственности. Поведение Лопухова в той ситуации, в какой он очутился, кажется неправдоподобным. Наконец, нельзя не заметить, что Чернышевский облегчает решение тем, что у Лопухова и Веры Павловны нет настоящей семьи, нет ребёнка. Много лет спустя в романе «Анна Каренина» Толстой даст опровержение Чернышевскому трагической судьбой главной героини, а в «Войне и мире» оспорит чрезмерную увлечённость революционеров-демократов идеями женской эмансипации.

Но так или иначе, а в теории «разумного эгоизма» героев Чернышевского есть бесспорная привлекательность и очевидное рациональное зерно, особенно важное для русских людей, веками живших под сильным давлением самодержавной государственности, сдерживавшей инициативу, а подчас и гасившей творческие импульсы личности.

«Особенный человек»

Новые люди в романе Чернышевского – посредники между «пошлыми» и «высшими». «Рахметовы – другая порода, – говорит Вера Павловна, обращаясь к Кирсанову, – они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь. А нам, Саша, недоступно это. Мы – не орлы, как он». Создавая образ профессионального революционера, Чернышевский показывает процесс его становления, расчлняя жизненный путь Рахметова на три стадии: теоретическая подготовка, практическое приобщение к жизни народа и переход к профессиональной революционной деятельности. На всех этапах Рахметов действует с полной самоотдачей, с абсолютным напряжением духовных и физических сил. Он проходит поистине богатырскую закалку и в умственных занятиях, и в практической жизни, где в течение нескольких лет исполняет тяжелую физическую работу, снискав себе прозвище легендарного волжского бурлака Никитушки Ломова. И теперь у него «бездна дел», о которых Чернышевский специально не распространяется, чтобы обойти цензуру.

Главное отличие Рахметова от новых людей заключается в том, что «любит он возвышенной и шире»: не случайно для новых людей он немножко страшен, а для простых, как горничная Маша, например, – свой человек. Сравнение героя с орлом и с Никитушкой Ломовым призвано подчеркнуть и широту воззрений героя на жизнь, и предельную близость его к народу. Рахметовский «ригоризм» нельзя путать с «жертвенностью» или самоограничением. Он принадлежит к той породе людей, для которых общее дело стало высшей потребностью, высшим смыслом существования. В отказе Рахметова от любви не чувствуется никакого сожаления, ибо его «разумный эгоизм» масштабнее и полнее разумного эгоизма новых людей.

Но в то же время Чернышевский не считает «ригоризм» Рахметова нормой. Такие люди нужны на крутых перевалах истории как личности, вбирающие в себя общенародные потребности и глубоко чувствующие общенародную боль. Вот почему в главе «Перемена декораций» «дама в трауре» сменяет свой наряд на подвенечное платье, а рядом с нею оказывается человек лет тридцати. Счастье любви возвращается к Рахметову после свершения революции.

Четвёртый сон Веры Павловны

Ключевое место в романе занимает «Четвёртый сон Веры Павловны», в котором Чернышевский развёртывает картину «светлого будущего». Он рисует общество, в котором интересы каждого органически сочетаются с интересами всех. Это общество, где человек научился разумно управлять силами природы, где исчезло драматическое разделение между умственным и физическим трудом, где личность обрела утраченную в веках гармоническую завершенность и полноту.

Однако именно в «Четвёртом сне Веры Павловны» обнаружилось слабости, типичные для утопистов всех времён и народов. Они заключались в чрезмерной «регламентации подробностей», вызвавшей несогласие даже в кругу единомышленников Чернышевского. Салтыков-Щедрин писал: «Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными? Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельной, и остаются только не умирающие общие положения».

Каторга и ссылка. Роман «Пролог»

После публикации романа «Что делать?» страницы легальных изданий закрылись для Чернышевского навсегда. Вслед за гражданской казнью потянулись долгие и мучительные годы сибирской ссылки. Однако и там Чернышевский продолжал упорную беллетристическую работу. Он задумал трилогию, состоящую из романов «Старина», «Пролог» и «Утопия». Роман «Старина» был тайно переправлен в Петербург, но двоюродный брат писателя А. Н. Пыпин в 1866 году вынужден был его уничтожить, когда после выстрела Каракозова в Александра II по Петербургу пошли обыски и аресты. Роман «Утопия» Чернышевский не написал, замысел трилогии погас на незавершённом романе «Пролог».

Действие «Пролога» начинается с 1857 года и открывается описанием петербургской весны. Это образ метафорический, явно намекающий на «весну» общественного пробуждения, на время больших ожиданий и надежд. Но русская жизнь сразу же разрушает иллюзии: «восхищаясь весной», Петербург «продолжал жить по-зимнему, за двойными рамами. И в этом он был прав: ладожский лёд ещё не прошёл».

Этого ощущения надвигающегося «ладожского льда» не было в романе «Что делать?» Он заканчивался оптимистической главой «Перемена декораций», в которой Чернышевский надеялся дождаться революционного переворота очень скоро... Но он не дождался его никогда. Горьким сознанием утраченных иллюзий пронизаны страницы романа «Пролог». Если пафос «Что делать?» – оптимистическое утверждение мечты, то пафос «Пролога» – столкновение мечты с суровой жизненной реальностью.

Вместе с общей тональностью романа изменяются и его герои: там, где был Рахметов, теперь появляется Волгин. Это типичный интеллигент, близорукий, рассеянный. Он всё время иронизирует, горько подшучивает над самим собой. Волгин – человек «мнительного, робкого характера», принцип его жизни – «ждать и ждать как можно дольше, как можно тише ждать».

Чем вызвана столь странная для революционера позиция?

В драматическую минуту жизни Волгин вспоминает: «как, бывало, идёт по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: “Город в опасности, – вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут всё по щепочке”. Немножко растворяется дверь будки, откуда просовывается заспанное старческое лицо, с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом: “Скоты, чего разорались? Вот я вас!” Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится, – ещё бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя “не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками”, обещавшие, что как они “веслом махнут”, то и “Москвой тряхнут”, – разбежались бы, куда глаза глядят... “Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы...” – думал он и хмурил брови».

Упрекая народ в рабстве за отсутствие в нём революционности, Волгин в спорах со своим молодым другом Левицким высказывает сомнение в целесообразности революционных путей изменения мира вообще: «Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно». Очевидно, и сам Волгин находится в состоянии мучительных сомнений.

Что делать? На этот вопрос в «Прологе» нет чёткого ответа. Роман обрывается на драматической ноте незавершённого спора между героями и уходит в описание любовных увлечений Левицкого, которые, в свою очередь, прерываются на полуслове.

Таков итог художественного творчества Чернышевского, отнюдь не снижающий значительности наследия писателя. Пушкин как-то сказал: «Глупец один не изменяется, ибо время

не приносит ему развития, а опыты для него не существуют». На каторге, гонимый и преследуемый, Чернышевский нашёл в себе мужество прямо и жёстко посмотреть в глаза той правде, о которой он поведал себе и миру в романе «Пролог».

Лишь в августе 1883 года Чернышевскому разрешили вернуться из Сибири, но не в Петербург, а в Астрахань, под надзор полиции. Он встретил Россию, охваченную правительственной реакцией после убийства народовольцами Александра II. Изменилась русская жизнь, которую он с трудом понимал и войти в которую уже не мог. После долгих хлопот ему позволили перебраться на родину, в Саратов. Но вскоре после приезда, 17 (29) октября 1889 года, Чернышевский скончался.

Вопросы и задания

1. Как добрая нравственная атмосфера детских лет способствовала пробуждению критического отношения Чернышевского к русской действительности? Почему Чернышевский отказался от духовной стези и поступил в Петербургский университет? Какое влияние оказали на Чернышевского труды французских социалистов-утопистов? Чем замечательна педагогическая деятельность Чернышевского в Саратовской гимназии?

2. Продумайте рассказ о сильных и слабых сторонах эстетики Чернышевского.

3. Раскройте связь общинного владения землёй с теорией крестьянского социализма Чернышевского.

4. Охарактеризуйте содержательный смысл избранного Чернышевским композиционного построения романа «Что делать?»

5. Расшифруйте аллегория второго сна Веры Павловны, попробуйте установить связь этого сна с развитием действия и судьбами героев романа.

6. Подготовьте сообщение на тему «Мораль новых людей и любовные отношения между ними». Попытайтесь критически оценить сильные и слабые стороны Чернышевского в изображении внутреннего мира этих героев.

7. Дайте характеристику Рахметова, обратив внимание на то, что сближает его с новыми людьми и в чём состоит его «особенность», исключительность.

8. Познакомьтесь с утопическими картинами «светлого будущего» человечества в четвертом сне Веры Павловны и попытайтесь дать им собственную критическую оценку.

9. Какие тревоги и сомнения Чернышевского нашли отражение в романе «Пролог»?

Русская литература и общественное движение 1870–90 годов





С развитием в пореформенной России буржуазных отношений в драматическом положении оказалось не только крестьянство, но и русская интеллигенция. Старая дворянская культура умирала вместе с гибелью дворянских гнёзд, скупаемых на корню новоявленными российскими «предпринимателями». Интеллигенция теряла всякую связь с общественными силами, определявшими жизнь страны. Она превратилась в прослойку, не ангажированную современной властью, но ощущающую своё кровное родство с ведущим и ещё более бесправным сословием – крестьянством. Интеллигенция стала осознавать свою вину, свой долг перед ним. В её мирозерцании наметился уклон к идеализму и метафизике. Естественные науки, обожествляемые радикальным поколением шестидесятников, в семидесятые годы потеряли былой ореол. Более того, они переродились в социал-дарвинизм – боевое оружие нарождающейся буржуазии. Писаревская группа лишилась былого общественного влияния, оно склонилось вновь в пользу Чернышевского и Добролюбова. Есть нечто символическое в том, что в 1868 году не только умирает Писарев, но и осуществляется переход «Отечественных записок» в руки Некрасова, Елисеева и Щедрина, возродивших традиции запрещённого в 1866 году «Современника».

Общественные взгляды Петра Лавровича Лаврова (1823–1900)

Тогда же в газете «Неделя» печатает свои «Исторические письма» (1868–1869) Лавров, укравшийся под псевдонимом Миртов. Эти «письма» сыграли ключевую роль в духовной подготовке народнического движения. Обращаясь к русской интеллигенции, Лавров говорит: «Современник, помни, что у тебя нет ничего собственного. Всё, чем ты гордишься, всё, что доставляет тебе наслаждение, весь комфорт, которым ты пользуешься, критическая мысль, освободившаяся от предрассудков, – всё это стоит страшно дорого и стоит на твоём личном счёту, если у тебя есть честь, совесть, сознание собственного достоинства».

Вслед за Герценом Лавров ставит перед мыслящими современниками вопрос о цене исторического прогресса: «Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей, в своём кабинете, могли говорить об его прогрессе». Если бы счесть число жизней, погибших в борьбе за его существование, «то, вероятно, наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие».

Остро ставя вопрос о цене прогресса, Лавров делает шаг вперёд по сравнению с Герценом: «Каждое поколение ответственно перед потомством за то лишь, что оно могло сделать и чего не сделало». А чтобы снять эту ответственность и чтобы расплатиться за прошлые жертвы, русский интеллигент должен знать, что главным двигателем прогресса является «критически мыслящая личность», которая ставит цели, соответствующие своим идеалам, и борется за их осуществление.

«Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем. Если я развитой человек, то я обязан сделать это, и эта обязанность для меня весьма легка, так как совпадает именно с тем, что составляет для меня наслаждение».

Идеалом «критически мыслящей личности» является «русский социализм». В общинном владении землёй Лавров вслед за Герценом и шестидесятниками видит зерно будущего гармонического устройства общества. Как все народники, Лавров считает капитализм не органичным для России явлением, чуждым в своих основах русскому национальному самосознанию.

Общественные взгляды Николая Константиновича Михайловского (1842–1904)

Позитивную основу народнической идеологии наиболее глубоко разработал в своих философско-социологических трудах Михайловский. Его убеждения формировались в процессе решительной критики идей социал-дарвинизма и теории «органического прогресса общества» английского философа и социолога Герберта Спенсера.

Дарвинистская социология переносила законы биологического развития на общественную жизнь и утверждала, что царящая в обществе борьба за существование ведёт к естественной гибели неприспособленных индивидов и к выживанию приспособленных и сильных. Михайловский назвал такую социологию «забвением человека среди всеобщего ликования». В работе «Теория Дарвина и общественные науки» (1870–1873) он доказал, что эта мысль неверна. Сильный чаще всего является неприспособленным, а приспособленным – слабый. Активными деятелями исторического процесса являются неприспособленные индивиды.

Михайловский находил, что буржуазной идеологией проникнута не только дарвинистская социология, но и натурфилософия. Дарвин, по определению Михайловского, «гениальный буржуа-натуралист». Его философия природы – сплошное мещанство: в научный принцип возводится у него отсутствие ярких индивидуальностей. «Сплочённая посредственность» губит всё, что, так или иначе, выходит из нормы. Выживают у Дарвина не одарённые, но наиболее приспособленные к среде. Торжествуют практические типы и гибнут идеальные.

В противовес буржуазной социологии Михайловский создаёт стройное социалистическое мировоззрение, в основе которого лежит «цельный», «идеальный» тип личности. Дарвинистскому критерию приспособляемости к среде Михайловский противопоставляет закон русского учёного Карла Бэра, который считал критерием совершенства человека «степень разнородности его частей и степень разделения труда между этими частями».

Михайловский заметил, что Спенсер неправоммерно перенёс закон Бэра с развития личности на развитие общества. Нельзя «физиологическое разделение труда между человеческими органами» отождествлять с экономическим разделением труда в обществе между индивидами. Чем экономическое разделение труда в обществе сильнее, тем физиологическое в индивиде слабее, и наоборот. Экономическое разделение труда внутри общества приводит к крайней специализации людей, в это общество входящих. Такое общество убивает личность, лишает её необходимой полноты, выражающейся в соразмерном упражнении всех способностей человека. В обществе, развивающемся по буржуазному типу, экономическое разделение труда торжествует, а личность деградирует. Идёт эволюция, но не осуществляется духовный прогресс.

В статье «Что такое прогресс?» (1869) Михайловский развивает своё учение о типах и степенях развития. Современный буржуазный общественный строй стоит на высокой степени развития, но это высокая степень низшего типа. И наоборот. Первобытный строй находился на крайне низкой степени развития, но зато представлял собою высший тип. Это же относится и к современной крестьянской общине, экономически отсталой по сравнению с формами капиталистического хозяйства, но являющей высший тип общественной организации. Задача «критически мыслящих личностей» заключается в том, чтобы через слияние с народом перевести высокий тип общественной организации к столь же высокой степени его развития.

Вот ключевое место из статьи Михайловского: «Первобытное общество представляет в целом массу совершенно однородную. Все члены его занимаются одними и теми же сведениями, имеют одни и те же нравы и обычаи. Но каждый из них, отдельно взятый, вполне разнороден: он и охотник, и пастух, он и лодки умеет делать, и оружие, и жилище сам себе строит...

Но вот происходит первое дифференцирование общества на управляющих и управляемых. Общество сделало шаг от однородности к разнородности, но входящие в его состав неделимые перешли, напротив, от разнородности к однородности. Мускульная система у одних стала развиваться в ущерб нервной системе, а у других наоборот...

Цельность личности, её разнородность, полнота развития всех её сил и способностей – словом, все необходимые условия для счастья – уступили место экономической и общественной специализации, тому процессу, который превращает человека в “палец от ноги”, в колёсико бесконечно большой общественной и государственной машины». По этому поводу Михайловский приводит очень убедительный пример. В ряду поколений тульских оружейников переход от разнородности к однородности происходил следующим образом: «Предки их делали всё ружьё, и потому должны были принимать в соображение такие данные, которые совершенно не нужны и непригодны потомкам, только сверлящим стволы или делающим курки. Поэтому предки были разностороннее потомков».

Цивилизация развивается за счёт раздробления отдельного человека, уничтожения его личности. Чтобы использовать одну какую-либо его силу, один его орган, от него отнимаются другие. Так, древние спартанцы выкалывали глаза своим рабам, приставленным к ручным мельницам, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молотить и молотить без конца. Такой тип развития Михайловский не считает прогрессом, ибо он приводит к деградации личности.

Прогресс возможен лишь на путях развития простых форм кооперации, в которых экономическое разделение труда между индивидами заменяется физиологическим разделением труда между отдельными органами этих индивидов. Отсюда – уникальная формула прогресса Михайловского: «Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно всё, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов».

В идеализации крестьянского общинного уклада Михайловский сходил с Лавровым. Вслед за ним он считал также, что историю творят не народные массы, а отдельные «критически мыслящие личности». В работе «Герои и толпа» (1882) Михайловский утверждал, что народное сознание в современном обществе, изуродованном разделением труда, находится в состоянии пассивности и склонно к бессознательному подражанию. Однако на массовую психологию «толпы» особое влияние оказывает «герой», сильная личность, способная увлечь её за собою на любое дело, как доброе, так и злое, как на подвиг, так и на преступление.

Призвание современной интеллигенции Михайловский видит в «благотворительной опеке народного развития». Поэтому он терпимо и даже сочувственно оценивает умеренное культурничество. Он считает, что «коренные начала русской экономической жизни не требуют революции», но требуют поддержки общины, организации различных форм кооперативного движения, поощрения кустарных промыслов, поддержки государством мелкой народной промышленности.

Михайловский принадлежал к умеренному крылу народничества, которое в семидесятые годы не занимало лидирующего положения в общественной жизни. Ведущую роль в ней играло тогда народничество радикальное, осуществившее попытку поднять крестьянство на революцию. У «ходовиков в народ» с революционными целями были свои идеологи, вожди и наставники: П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачёв. Но между ними существовали разногласия и споры. В чём заключалась суть их политических программ, с чем были связаны споры и разногласия?

Общественная позиция Михаила Александровича Бакунина (1814–1876)

К 1870-м годам Бакунин, находившийся в эмиграции, становится одним из идейных вождей и вдохновителей «хождения в народ». В работе «Государственность и анархия» он утверждает, что общественный организм России после реформы 1861 года раскололся на два враждебных полюса. На одном – общинное крестьянство, способное к историческому развитию. На другом – государственная надстройка, паразитический нарост на здоровом теле народной жизни, удерживающийся на нём с помощью насилия. Между двумя этими полюсами идёт постоянная вражда. Крестьянский мир искони борется с государством и правящими классами за торжество своих общинных начал, за разрушение паразитической надстройки. Эта борьба нуждается сейчас в направляющем, организующем элементе, каким и должна стать революционная интеллигенция.

Бакунин-теоретик признает научную ценность «Капитала» Карла Маркса, но лишь в двух моментах: в необходимости «экспроприации экспроприаторов» и в организации коллективного владения средствами производства. Далее начинаются расхождения. Вслед за Прудоном Бакунин отрывает экономическую организацию общества от политической. Экономическая организация является результатом естественной связи между людьми в процессе трудовых отношений их друг с другом. И сама по себе она стремится к равенству, справедливости и коллективизму.

Но на пути её естественного развития встаёт надстройка, политическим насилием насаждающая в обществе социальное неравенство. Главной целью революции должно быть полное уничтожение этой надстройки, разрушение государства, освобождение естественной и живой экономической стихии от его ига. Эта стихия в своём широком разливе сама придёт к естественной для неё коллективистской и разумной организации.

Бакунин считал бессмысленной борьбу за улучшение государственных форм или захват государственной власти. «Между революционной диктатурой и государственной, – утверждал он, – вся разница только во внешней оболочке: обе одинаково реакционны». Единственно плодотворным и творческим видом борьбы за освобождение является бунт, анархическая революция.

Бунт не будет в русских условиях «бессмысленным и беспощадным», так как в душе русского крестьянина существует исторически выработанный, ставший общенародным культурным инстинктом социалистический идеал «жизни миром». К этому творческому бунту крестьянская масса сейчас готова. Не хватает лишь искры, чтобы вспыхнуло пламя. «Летучая» пропаганда интеллигентов поднимет бунтарские настроения в народе и будет той искрой, которая вызовет революционный пожар. Этот пожар уничтожит паразитическое государство и приведёт крестьянский мир к социалистической федерации сельских общин, организующих жизнь на началах общинного самоуправления.

Программа Бакунина встретила неприятие у Лаврова. Он считал, что в настоящее время народ не готов к революционной борьбе. Грядущая революция нуждается в тщательной культурной подготовке, в длительном воспитательном периоде, призванном внести сознательное начало в стихийные, бунтарские настроения народных масс. Эта воспитательно-подготовительная работа выпадает ныне на долю русской интеллигенции.

Общественно-политические взгляды Петра Никитича Ткачёва (1844–1886)

Совершенно иначе относился к политической борьбе Ткачёв. Как и все народники, он связывал надежду на будущее России с крестьянством, с его социалистическими инстинктами, с общинным владением землёй. Но, в отличие Лаврова и Бакунина, он считал, что крестьянство в силу своей пассивности и отсталости совершить революцию не способно. Община может стать «ячейкой социализма» только после уничтожения существующего государственного строя. Первоочередную задачу революции он видел в захвате государственной власти и установлении диктатуры «революционного меньшинства». Эта диктатура откроет путь для «революционно-устроительной деятельности» интеллигенции в народе. Политическая революция будет первым шагом к революции социальной. Поэтому Ткачёв оправдывал политический террор, целью которого являлся захват власти в стране горсткой революционеров.

Основные этапы «хождения в народ»

Первые народнические кружки (Н. В. Чайковского, Ф. В. Волховского), начавшие «хождение в народ», придерживались тактики Лаврова. Под видом сельских учителей, врачей, писарей в волостных правлениях революционеры пытались закрепиться в деревне и вести систематическую пропаганду революционных идей в крестьянской среде.

Однако правительственные репрессии показали вскоре, что подобная «оседлая» пропаганда затруднительна. К тому же движение принимало всё более широкий, массовый характер, молодёжью овладевало революционное нетерпение. Таким настроениям более соответствовала идея «летучей» пропаганды, к которой молодёжь и приступила. Массовое «хождение в народ» завершилось в 1874 году арестами нескольких тысяч человек и последовавшими затем процессами «193-х» и «50-ти».

После провала первой волны «хождения в народ» революционеры решили вновь сместить летучую агитацию организацией прочных поселений в деревне, но действовать при этом крайне осмотрительно. Они сплотились в 1876 году в подпольную организацию «Земля и воля». Основой её считались поселения в деревне, а подвижный идеологический центр оставался в нескольких крупных городах и вёл пропаганду среди учащейся молодежи и рабочих.

Вскоре между деревенскими поселенцами и городским ядром землевольцев возникли разногласия. Первые всё более и более убеждались в невозможности поднять народ на революцию в ближайшее время и частично переходили к культурной деятельности в деревне, отказываясь от революционных целей. Вторые, напротив, всё более и более заражались революционным нетерпением и энтузиазмом, находясь под большим давлением молодых интеллигентских сил. В городской прослойке землевольческой организации становилась популярной ткачёвская идея политического террора.

Летом 1879 года на съезде партии в Воронеже «Земля и воля» распалась: «политики» организовали новую партию «Народная воля», провозгласив главной целью движения политический переворот и террористические формы борьбы с правительством, «деревенщики» во главе с Г. В. Плехановым и П. Б. Аксельродом отделились в свою партию под названием «Чёрный передел».

1 марта 1881 года, после многократных покушений, народовольцы убили Александра II. Это событие подтолкнуло либералов на последнюю и самую решительную попытку реформировать самодержавие. В газете М. М. Стасюлевича «Порядок» было опубликовано открытое обращение к новому царю Александру III с предложением ввести в России представительную форму правления. Одновременно в адресах и заявлениях многих земских собраний выдвигается требование созыва Всероссийского земского собора.

Однако в этой критической ситуации либеральное движение тоже раскололось на два лагеря. Правая его часть в лице Г. К. Градовского и Б. Н. Чичерина направляет Александру III записку о несвоевременности введения конституции: «власти необходимо показать свою энергию» перед угрозой революции.

Консервативные взгляды Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887)

Начало 1880-х годов характеризуется расцветом консервативной идеологии. На крайне правые позиции переходит редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» Катков. В 1884 году в «Московских ведомостях» он занимает «наблюдательный пост», с высоты которого произносит приговоры «врагам отечества» и призывает правительство к «твёрдой власти», способной «внушать спасительный страх». Его общественная позиция чётко формулируется в статье о «царском пути», написанной в момент вступления на престол Александра III:

«Предлагают много планов. Но есть один царский путь. Это – не путь либерализма или консерватизма, новизны или старины, прогресса или регресса. Это и не путь золотой середины между двумя крайностями. С высоты царского трона открывается стомиллионное царство. Благо этих ста миллионов и есть тот идеал и вместе тот компас, которым определяется и управляется истинный царский путь.

В прежние века имели в виду интересы отдельных сословий. Но это не царский путь. Трон затем возвышен, чтобы перед ним уравнилось различие сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и простолюдины, богатые и бедные, при всём различии между собой, равны перед царём. Единая власть и никакой иной власти в стране и стомиллионный, только ей покорный народ, – вот истинное царство...

Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие исключают “народную свободу”, на самом же деле они обеспечивают её более, чем всякий шаблонный конституционализм. Только самодержавный царь мог без всякой революции, одним своим манифестом, освободить 20 миллионов рабов и не только освободить лично, но и наделить их землёй. Дело не в словах и в букве, а в духе, всё оживляющем.

Да положит Господь, Царь царствующих, на сердце Государя нашего шествовать этим воистину царским путём, иметь в виду не прогресс или регресс, не либеральные или реакционные цели, а единственно благо своего стомиллионного народа...»

Историософские воззрения Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891)

Леонтьев отстаивал в 1880-е годы свои консервативные убеждения в книгах «Восток, Россия и славянство» (т. 1–2, 1885–1886) и «Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и граф Лев Толстой» (1882). Он называл Каткова «нашим политическим Пушкиным», но, в отличие от него, давал религиозно-философское обоснование курсу правительства Александра III на сильную власть и подавление как революционного, так и либерального свободомыслия.

Философские взгляды Леонтьева формировались под воздействием русского идеолога «неославянофильского» направления Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885). В труде «Россия и Европа» (1869) Данилевский утверждал существование в истории обособленных друг от друга, развивающихся по своим индивидуальным законам национальных «культурно-исторических типов». Подобно живому организму, они проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. В ходе истории один культурно-исторический тип сменяется и вытесняется другим. В современном историческом процессе качественно новым и развивающимся оказывается, по Данилевскому, «славянский тип», наиболее ярко выраженный в русском народе.

Леонтьев наследует у Данилевского идею культурно-исторических типов, утверждая, что каждый из них проходит в истории три стадии развития: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности, 3) вторичного смесительного упрощения. Главным признаком упадка и вступления нации в стадию вторичного смесительного упрощения Леонтьев считает распространение буржуазного либерализма и социализма с их идеалами равенства и культом всеобщего благополучия.

Либерализму и социализму в России Леонтьев противопоставлял «византизм» – сильную монархическую власть и строгую церковность. Эти общественные институты призваны сохранить и укрепить в стране общественное неравенство, пестроту сословных интересов и привилегий – «цветущую сложность» национальной жизни. Государственное и религиозное могущество России превращает её в новый исторический центр, тормозящий процесс либерализации и распространения революционных идей.

Леонтьев был принципиальным противником самой идеи прогресса, которая, по его учению, приближает тот или иной народ к смесительному упрощению и смерти. Остановить, задержать прогресс и «подморозить» Россию – эта идея Леонтьева пришлась ко двору консервативной политике Александра III.

Консервативная идеология. К. П. Победоносцев

Существенную роль в борьбе с конституционными идеалами русских либералов и примкнувших к ним в 1890-е годы радикальных народников играл обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев (1827–1907). В своём «Московском сборнике» (1896) он немало страниц посвятил обличению безверия русской интеллигенции, связывая этот порок с влиянием идей, идущих с Запада.

Главный изъян этих идей он видел в утверждении антихристианской по своей сути веры в «исконное совершенство человеческой природы». Эта прекраснодушная вера, отрицающая догмат о грехопадении человека, породила «чрезмерные ожидания, происходящие от чрезмерного самолюбия и чрезмерных искусственно образовавшихся потребностей». Из этой веры в человека вышли идеи свободы, равенства и братства, убеждения, что в демократических институтах власти действует закон народоправства и все решения принимаются с учётом мнения большинства.

В статьях «Великая ложь нашего времени» и «Новая демократия» Победоносцев утверждал, что «одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времён французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции...»

«На фронте этого здания красуется надпись: “Всё для общественного блага”. Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Всё здесь рассчитано на служение своему я».

«Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу... Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдёт заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы свои в рабочем углу своём или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдёт искать популярности на шумном рынке...»

Лучшим людям долга и чести противна выборная процедура: от неё не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достигнуть своих личных целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромным, – ибо скромности его не заметят, не станут говорить о нём. Своим положением и тою ролью, которую берёт на себя, – он вынуждается лицемерить и лгать с людьми, которые противны ему... Какая честная натура решится принять на себя такую роль?»

«Выборы – дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует комитет, самочинное учреждение, коего главной силой служит – нахальство. Искатель представительства, если не имеет ещё сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и не крепких разумом обывателей, и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе – руководителями общественного мнения.

Всегда находится достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, – и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами.

Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами, – это своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями... Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, награждается кандидатом для будущих выборов, или, при благоприятных условиях, сам выступает кандидатом, сталкивая того, за кого пришёл вначале работать языком своим. Фраза – и не что иное, как фраза – господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности!

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать по одиночке. Большинство, т. е. масса избирателей, даёт свой голос стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом».

«Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных: это пустая теория, – на деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать – по увлечению – мнение, выраженное одним человеком или некоторым числом людей; например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля, или организованной ассоциации, или, наконец, – безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати...» «Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар – всероссийского парламента!».

Всё, что связано с идеей народного представительства, Победоносцев подвергает беспощадной критике. Суд, основанный на этих началах, родит «толпу адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, чтобы действовать на массу».

Присяжные представляют в этом суде «пёстрое смешанное стадо, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки».

Ещё более вредна периодическая печать, так называемая «выразительница общественного мнения». Это сила развращающая, ибо она, будучи безответственной за свои мнения и приговоры, вторгается с ними всюду, навязывает читателю свои идеи и механически воздействует на поступки массы самым вредным образом. «Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, созвать толпу писак»...

Александр Блок в поэме «Возмездие» дал Победоносцеву такую уничтожающую характеристику:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

Но приведённые нами отрывки из статей Победоносцева свидетельствуют о незаурядном уме и пронзительности этого консерватора, взгляд которого далёк от «стеклянного взора колдуна».

«Философия общего дела» Николая Фёдоровича Фёдорова (1829–1903)

В эпоху конца 1870-х – 80-х годов начинает обретать популярность учение Фёдорова. Его взгляды во многом разделяет Достоевский («прочёл как бы свои»), Толстой чувствует себя «в силах защитить их», Горький называет его «замечательным», «своеобразным мыслителем». Под влиянием Фёдорова формируется мировоззрение русского философа В. С. Соловьёва и в какой-то мере отца русской космонавтики К. Э. Циолковского.

Будучи библиотекарем Румянцевского музея, Фёдоров вёл аскетический образ жизни, считая грехом всякую собственность, в том числе и собственность на книги. По этой причине он отказывался печатать свой главный труд «Философия общего дела», и его учение распространялось в рукописном виде или в устном изложении его последователей.

В основе «Философии общего дела» лежит мысль о полном овладении человеком тайнами жизни, о победе над смертью и достижении человечеством богоподобного могущества и власти над слепыми силами природы. Фёдоровский проект «регуляции природы» призывает человечество сосредоточить все интеллектуальные, гуманитарные и научно-технические усилия на сознательном управлении эволюцией и на преобразовании природы в соответствии с высшими нравственными потребностями человека. Идея «регуляции природы» включает у Фёдорова переустройство самого человеческого организма, выход человечества в космос, управление космическими процессами, победу над смертью с всеобщим воскрешением предков.

В процессе регуляции человечество, по Фёдорову, собственными усилиями осуществит преобразование телесного состава человека, сделав его бессмертным, и одновременно добьётся управления «солнечной и другими звёздными системами». «Порождённый крошечной землёю, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем».

Для достижения такого могущества человечество должно устранить созданный в процессе эволюции разрыв между отвлечённым познанием мира и практическим делом, между «учёными» и «неучёными». Вчерне такая гармония уже существует в «сельском знании», «которое не отделяется от жизни и составляет с ней одно». Знание преодолевает отвлечённый, «городской» характер и обратится на службу «всесословной» земледельческой общине, где оно начнет осуществляться практически в самой природе. Этим всеобщим знанием будет охватываться вся земля, включая весь пройденный ею земной опыт, и все ушедшие в небытие поколения, солнечная система и космические миры. В процессе познавательно-преобразовательных усилий человечество должно, по Фёдорову, добиться «имманентного воскрешения» всех умерших людей на земле путем овладения тайнами наследственности.

Но для осуществления подобного проекта необходимо в первую очередь отказаться от всяких личных привилегий, являющихся источником вражды и обособления. Нужно освободиться от всех формально-гражданских отношений, страдающих неродственностью. Нужно преобразовать современные города как «совокупность небратских состояний» и положить в основу социально-нравственной организации человечества культ предков, «всемирный культ всех отцов». Этот культ откроет перед человечеством двери «взаимознания», сделает всех людей братски «прозрачными» друг для друга. Без такой нравственной переориентации человеческого прогресса проект регуляции недостижим. Нужно пробудить любовь сынов к отцам, острое сознание ответственности и нравственного долга ныне живущих перед всеми умершими. Всеобщее воскрешение невозможно без глубоких сердечных и нравственных усилий каждого человека и всего человечества. Нужно, чтобы «все рождённые поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, то есть лишение отцов жизни, –

откуда и возникает долг воскрешения отцов, который даёт сынам бессмертие». Только объединившееся в братскую семью живущих и умерших поколений человечество с помощью Божьей благодати придёт к управлению «атомами и молекулами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить в тела отцов».

По Фёдорову, прогресс, ведущий человечество к саморазрушению и смерти, нужно остановить и повернуть в другую сторону: к познанию исторического прошлого и овладению слепыми стихиями природы, обрекающими на смерть новые и новые поколения людей. Пора оглянуться назад, обратить внимание на отцов и предков, на их воскрешение, которое должно, по Фёдорову, начаться с изучающей памяти. Это чувство памяти необходимо пробудить у всех людей, призванных сначала в памяти же воскресить всё умершее, «ввести в историю каждый городок и село, как бы незначительны они ни были».

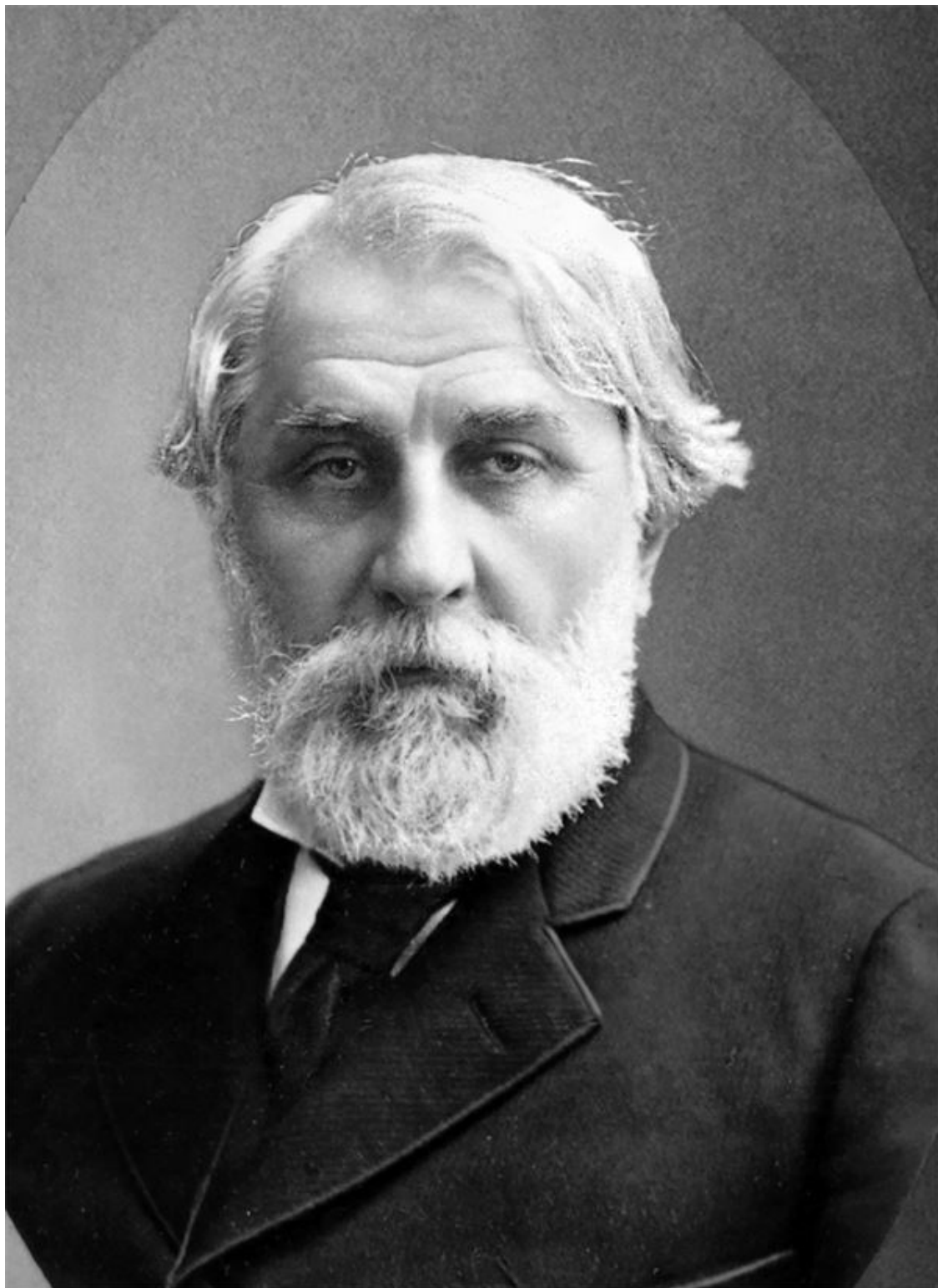
Фёдоров вступает в решительную полемику с толстовским пониманием бессмертия: «Даже величайший враг воскрешения, Толстой, который, чтобы отвергнуть истинное воскресение, назвал воскресением неважную нравственную, совершенно бесплодную перемену, – что он делал, создавая “Войну и мир”, как не воссоздавал, воскрешал своих предков, хотя и делал это лишь мнимо, а не действительно».

Добро Фёдоров определял как «сохранение жизни живущим и возвращение её теряющим и потерявшим жизнь». Толстой же видит добро лишь в братском единении живущих людей «без всякого отношения к умершим отцам, по которым только мы и братья». Человечество призвано преодолеть данный ему слепой природой бесконечный процесс рождения и смерти, в ходе которого родители покорно уступают место детям, а дети забывают родителей, устремляя любовь на своих детей, и т. д.

Вопросы и задания

1. Дайте характеристику общественных взглядов П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, М. А. Бакунина и П. Н. Ткачёва. Раскройте основные этапы «хождения в народ».
2. Дайте характеристику консервативных взглядов М. Н. Каткова, К. Н. Леонтьева и К. П. Победоносцева.
3. Сформулируйте основные положения «Философии общего дела» Н. Ф. Фёдорова.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)





Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева

В одном из писем к Полине Виардо Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая зелёная веточка на фоне голубого далёкого неба. Тургенева беспокоит контраст между тоненькой веточкой, в которой трепетно бьётся живая жизнь, и холодной бесконечностью равнодушного к ней неба. «Я не выношу неба, – говорит он, – но жизнь, действительность, её капризы, её случайности, её привычки, её мимолетную красоту... всё это я обожаю».

Острее многих русских писателей-современников Тургенев чувствовал кратковременность и непрочность человеческой жизни, неумолимость и необратимость стремительного бега исторического времени. В ранней молодости он написал об этом стихи, которые стали в России популярным романсом:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Тургенев обладал удивительным талантом бескорыстного, ничем относительным и преходящим не ограниченного художественного созерцания. Однажды он сказал: «Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему, но сохранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в этой любви уже нет ничего личного, и я, глядя на какое-нибудь прекрасное лицо, мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною... Возможность пережить в самом себе смерть самого себя – есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот – я умер – и всё-таки жив – и даже, может быть, лучше стал и чище».

Необычайно чуткий ко всему злободневному и сиюминутному, умеющий схватывать жизнь в её прекрасных мгновениях, Тургенев владел одновременно завидной свободой от всего временного и конечного, от всего субъективно-пристрастного, приглушающего остроту зрения, широту взгляда, полноту художественного восприятия.

Наше время, считал он, требует уловить современность в её преходящих образах; слишком запаздывать нельзя. И он не запаздывал. Все его произведения не столько попадали в «настоящий момент» общественной жизни России, сколько его опережали. Тургенев был особенно восприимчив к тому, что стоит «накануне», что ещё только носится в воздухе. По словам Н. А. Добролюбова, он быстро угадывал «новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество».

Беспристрастная, лишённая эгоизма любовь к жизни позволяла ему видеть её явления во всем их многообразии, в полнокровном движении и развитии. И хотя его называли порой летописцем, создавшим художественную историю русской интеллигенции, в действительности он был не летописец, а провидец. Летописца-хроникёра ведут исторические события, он следует за ними по пятам, он описывает факты, уже совершившиеся. А Тургенев не держит дистанции, постоянно забегаая вперёд. Острое художественное чутьё, бескорыстная свобода восприятия позволяют ему по неясным, смутным ещё штрихам настоящего уловить грядущее и воссоздать его, опережая время, в неожиданной конкретности, в живой полноте.

Этот дар Тургенев нёс всю жизнь как тяжкий крест. Ведь его дальновзоркость раздражала современников, не желавших жить, зная наперёд свою судьбу. И в Тургенева часто летели камни. Но таков уж удел любого художника, наделенного даром «предвидений и предчувствий», любого пророка в своём отечестве. И когда затихала борьба, наступало затишье, сбывались его предчувствия, те же гонители шли к нему на поклон с повинной головой.

Его очевидный противник, революционер-демократ М. Е. Салтыков-Щедрин, писал: «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканые из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом...».

Забегаая вперёд, Тургенев оказывался первооткрывателем: он определял пути, перспективы развития русской литературы второй половины XIX столетия. В «Записках охотника», например, уже предчувствовался эпос «Войны и мира» Толстого, «мысль народная». В судьбе Лаврецкого из «Дворянского гнезда» угадывались духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. В «Отцах и детях» предвосхищалась мысль Достоевского, характеры будущих его героев от Родиона Раскольникова до Ивана Карамазова.

В отличие от писателей-эпиков, Тургенев предпочитал изображать жизнь не в повседневном, растянутом во времени течении, а в острых и драматических ситуациях. Ведь духовный облик русских людей культурного слоя общества в середине и второй половине XIX века изменялся стремительно: «в несколько десятилетий, по словам В. И. Ленина, совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».

Это вносило драматическую ноту в романы писателя: их отличает краткая завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожиданный спад с трагическим, как правило, финалом. Они захватывают небольшой отрезок времени, поэтому точная хронология играет в них существенную роль. Жизнь тургеневского героя крайне ограничена в пространстве и времени. Если в характерах Онегина и Печорина «отразился век», то в Рудине, Лаврецком, Инсарове и Базарове отсчёт идёт на десятилетия. Жизнь тургеневских героев подобна ярко вспыхивающей, но быстро гаснущей искре в океане времени.

Все тургеневские романы включены в жёсткие ритмы годового природного круга. Действие в них завязывается весной, достигает кульминации в знойные дни лета, а завершается «под свист осеннего ветра» или «в безоблачной тишине январских морозов». Тургенев показывает своих героев в счастливые мгновения полного расцвета их жизненных сил. Но именно здесь обнаруживаются с катастрофической силой свойственные им противоречия. Потому и минуты эти оказываются трагическими: гибнет на парижских баррикадах Рудин, на героическом взлёте неожиданно обрывается жизнь Инсарова, а потом Базарова и Нежданова...

Но трагические финалы в романах Тургенева не говорят о разочаровании писателя в смысле жизни, в ходе истории. Скорее наоборот: они свидетельствуют о такой любви к жизни, которая доходит до жажды бессмертия, до дерзкого желания, чтобы красота явления, достигнув полноты, превращалась в вечно пребывающую на земле красоту.

В его романах сквозь злободневные события, за спиной героев времени, ощутимо дыхание вечности. Базаров, например, у него говорит: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!».

Базаров – нигилист. Он скептичен. Но заметим его смущение, даже растерянность перед парадоксальной силой человеческого духа. Ведь если Базаров осознает несовершенство человека с его смертной природой, если он этим возмущается («что за безобразие»), значит, в нём живёт иное, далёкое от нигилизма мироощущение, возвышающее его над бездушной «природной мастерской». И что такое роман «Отцы и дети», как не утверждение той великой истины, что и бунтующие против высшего миропорядка, по-своему, от противного, доказывают правомерность его существования?!

Да и «Накануне» – это не только роман о сознательно-героических натурах, стремящихся к социальному обновлению, но это ещё и роман о вечном поиске и вечном вызове, который бросает дерзкая личность слепым и равнодушным законам природы. Внезапно заболевает Инсаров, не успев осуществить великое дело освобождения Болгарии. Любящая его русская девушка Елена никак не может смириться с тем, что это конец, что болезнь друга неизлечима.

«О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слёзы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недостижимых безднах и глубинах, всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? Неужели же нельзя умолить, отворотить, спасти... О Боже! неужели нельзя верить чуду?»

В отличие от Достоевского и Толстого, Тургенев не даёт прямого ответа на вечный вопрос. Он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотой: «О, как тиха и ласкова была ночь, какой голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть перед этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!» Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: «красота спасет мир». Но разве все его романы не утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески-созидательную силу искусства? Разве они не укрепляют великую надежду человечества на переход смертного – в бессмертное, временного – в вечное?

«Стой! Какую я теперь тебя вижу – останься навсегда такую в моей памяти! <...> Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды? Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри? Его лобзание горит на твоём, как мрамор, побледневшем челе!»

Вот она – открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет – и не надо. В это мгновение ты бессмертна. Оно пройдёт – и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это мгновенье – ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это *твоё* мгновение не кончится никогда. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!»

Именно к ней, к обещающей спасение миру красоте простирает Тургенев свои руки. С Тургеневым не только в литературу – в жизнь вошёл поэтический образ спутницы русского героя, «тургеневской девушки»: Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны Синецкой... Писатель избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенётся девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие её возможности. В эти мгновения одухотворённое женское существо прекрасно тем, что оно торжествует над своей смертной природой. Излучается такой переизбыток жизненных сил, какой

не получит земного воплощения, но останется заманчивым обещанием чего-то более высокого и совершенного.

«... Человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное... Существование наше есть непрерывное существование куколки, переходящее в бабочку», – утверждает Достоевский. Тургенев молчит. Но напряженным вниманием к высочайшим взлётам человеческой души он всякий раз подтверждает истину этой мысли.

Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в произведения писателя образ «тургеневской любви». Как правило, это первая любовь, одухотворённая и целомудренно чистая. Она решительно разрушает будни повседневного существования: «Первая любовь – та же революция, – пишет Тургенев в повести “Вешние воды”. – однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьётся её яркое знамя, и что бы там впереди её ни ждало – смерть или новая жизнь, – всему она шлёт свой восторженный привет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.